

Л. РЖЕВСКИЙ

## Две строчки времени

*Роман*

ВИУ — ВИУ — ВИУ...

*Случится то, чего не чаешь...*

*А. Белый*

1

Виу-виу-виу...

Трудно передать знаками этот звук — скуление мотора, который не хочет заводиться; один из самых беспокойных звуков нашего современного человеко-машинного общежития, — может быть потому, что вбирает в себя главный тон его жизни: нетерпение. Нетерпение ступни, придавившей педаль, пальца, жмущего на стартер, самого биения сердца, перемежающегося отчаянием и надеждой.

Возник этот звук в раннее июльское утро, в тишайшем городке, откуда об эту пору выехала на каникулы вся звонкая студенческая молодежь, в полумиле от еще сонного моря.

В это утреннее безмолвие каждые четверть часа с шестисотлетней колокольни падала медная — в шесть ударов — гамма; точнее, не падала, но сплывала вниз по этакой, как я себе представлял, волнообразной звуко-параболе; а когда парабола

замирала, я брался за свои мемуары, и из почти первозданной, я бы сказал, тишины приходили ко мне самые позабытые и потому словно бы новые образы прошлого и самые нужные, избранные слова.

И вдруг: виу-виу-виу...

Сколько минут можно такое вытерпеть?

На пятой, примерно, минуте, бросив писанье, я спускался со своего третьего этажа. Какой-то кусочек воспоминаний, отколовшись от рукописи на столе, увязался со мной; оба мы на ходу составляли одну-две вежливые фразы, обращенные к монстру за рулем, которые на местном языке означали бы эквивалент проклятия.

«Монстра» разглядел я не сразу — маленький темно-красный фольксваген с задраным вверх турнюром спел на утреннем желтоватом солнце, как помидор. Согнувшись, заглядывала в путаницу трубок и втулок узенькая фигурка в вишневом безрукавном свитере и с черными в синеву прядками по плечам; между свитером и юбкой — пятно загорелой кожи в форме американского футбольного мяча.

Увязавшийся за мной осколочек воспоминаний чиркнул от меня, как электрический разряд, в сторону этого пятна и исчез, оставив ощущение встречи с чем-то очень знакомым...

Услыша скрип гравия под моими ногами, «монстр» обернулся ко мне. В нетерпеливо подкинутых бровях — усмешка и вызов.

И довольно бестолковая пауза с моей стороны.

— Ну? — спросил «монстр», выпрямившись. — Помешала я вам завтракать, что ли?

— Не могу ли я помочь?

— Не знаю, можете или нет. На автомеханика вы не похожи. Но — попытайтесь!

Я попытался. Села батарея — установить это не стоило большого труда.

— Вот телефон мастерской, — сказал я. — Позвоните, и через полчаса всё будет готово.

— И я на полчаса опоздаю в бюро. В восемь ровно мне нужно вести экскурсию.

— Тогда в мастерскую позже, а на работу я отвезу вас в своей машине. Она вот, рядом.

— Ладно... — кивнула она с чем-то вроде гримасы, природу которой я не мог разобрать. Какое лицо! Да, я близко знал когда-то другое, похожее, с той же яркостью — но очень спокойных — черт. В этом же всё было необычайно подвижно: узко подбритые брови то ломались вверх домиками, то разлетались к вискам; вдруг широко распахивались на вас черносмородинового колера глаза и тут же щурились, морща переносицу. Крупный рот — в постоянных и самой пестрой выразительности усмешках; усмешка ироническая асимметрична и образует в углу губ петельку, в которой поблескивает один чуть по-своему растущий зубок.

Все это я разглядел, покуда ехали — место, которое она назвала, было не ближний край, в смежном другом городке. Узкая, как стручок, она почти не занимала пространства рядом. Пахло от нее каким-то цветком.

— Давно вы пришвартовались на нашем паркинге? — спросил я, потому что у нее не было, по видимому, никакой охоты завязать разговор. — Раньше вашего жука там не видал.

— С неделю. Но вообще я с ним здесь уже года два.

— Откуда же прибыли?

Она назвала один не очень далекий порт.

— Но вы по типу не здешняя?

— Если вы собираетесь допрашивать меня, — зевнула она в наманикюренную горстку, — я, пожалуй, вылезу и подожду попутную машину.

— Я вас не допрашиваю, а знакожусь. И если вздумаете сойти, — не удерживаю, — пожалуйста!

— Чёрт возьми! — сказала она вдруг по-русски. — В вас есть спирт!

— ??

— Моя семья — с юга России. Я почти что здесь родилась, но знаю русский язык. Кажется, знаю и вас. Вы — П. — (она назвала мою фамилию). — Из Нью-Йорка. У меня есть друзья среди ваших знакомых. Видите, я ответила на ваш вопрос — мне понравилось, что вы готовы были выбросить меня из машины.

— Положим, преувеличение...

— Вы, слыхала я, пишете?

— Случается.

— Над чем сидели сегодня, когда я вам помешала?

— Над воспоминаниями.

— Мемуары, говорят, пишут древние старики. Вы — древний?

— С вашей точки зрения — вероятно.

— Ну, сколько вам? Мне девятнадцать, а вам?

— Почти в три раза больше.

— Чёрт подери, много!.. Всё-таки мне трудно вато по-русски. Мои бывшие родители всегда бранились по-русски, а теперь совсем этого языка не слышу.

— Почему «бывшие»?

— Потому что я бросила их и живу самостоятельно, — сказала она тоном, который подсказывал, что продолжение этой темы нежелательно. — Вы бываете здесь? — кивнула она на песчаное побережье, мимо которого шла сейчас наша машина.

Это был пляж, гордость двух городков, между которыми протянулся, — весьма живописный пляж: кривые от ветра ветлы у ровной янтарной кромки берега; выше — складки дюн, поросших сосняком. В привилегированной части его сосны редели, торчали мачтами, и к ним лепились разных пастельных расцветок раздевальные будки, настоящие микродачки, с полатами, столиком и окошком, одетым изнутри противокосариной сеткой. Каждой будке принадлежал и свой купальный участок берега, и, хотя не было заборов и проволоки, купальщики с общего пляжа сюда не заглядывали, если не считать «волосатиков», которые иной раз располагались здесь с вызовом; «волосатиками» называю я славных отпрысков обоого пола, пренебрегающих некоторыми традициями и в частности — ножницами.

Разумеется, я здесь бывал. Даже снял себе одну из будок. Пытался сейчас разглядеть ее среди сосен, чтобы показать своей спутнице, но солнце еще не доползло до прибрежного ската, там всё было сизо, и я ограничился описанием, не заинтересовавшим ее нисколько. «Бывает, сижу в своей будке с полудня до самых сумерек. Чудесно читается!» — заключил я и, вероятно, слишком для нее восторженно, потому что увидел в углу ее рта усмешку...

— В общем, спасибо, что выручили! — сказала она, когда мы доехали, выпрыгнув на тротуар и небрежно качнув в воздухе пальцами над ла-

донью — словно я был не рядом, а на другом конце улицы.

— Пойдите!.. — сказал я неуверенно, потому что не знал, что именно хочу сказать.

— Ну? — подождала она, нетерпеливо прочеркивая носком туфли асфальт, как молодая кобылка.

— Как вас, по крайней мере, зовут?

— Меня зовут Ия. Что вы на меня так уставились? Звали так вашу бабушку или жену? Но извините, бегу!..

Я уставился на нее и даже, может быть, вздрогнул — потому что имя это взорвалось в моих ушах, как маленькая торпеда: когда-то оно было для меня значительнее всех прочих имен. и вот теперь так неожиданно повторилось...

Но об этом будет достаточно впереди, а сейчас я стоял гораздо дольше, чем было естественно, у тротуара, покуда не захлопнулась за ней стеклянная с золотыми буквами и виньеткой дверь.

2

Так началось то, что, собственно, чем-то и не было и вовсе не должно было бы начинаться, потому что ничем не могло и кончиться; но разве это — резон для чего бы то ни было в жизни? Не могло ничем кончиться, потому что не было содержанием вне меня, но вот во мне самом содержанием оказалось.

Большим, чем мои мемуары, которые в три последующих дня не увеличились ни на строчку.

А в утро четвертое я спустился вниз чуть ли не с петухами.

Выхаживая в стороне, откуда виден был краешек паркинга, слушал приближающееся шарканье шагов, взыгрыванье моторов, следил, как одна за другой скрывались за углом покрытые утренней крупной росой автомобильные спинки.

Она пришла, как и в первый раз, поздно и так торопилась, что едва успел захватить — уже нажала было на стартер.

— Очень хотел вас увидеть! — сказал я.

— Зачем? — спросила она в приспущенное окошечко, подкинув брови. И было столько искреннего недоумения в этом «зачем?», что меня повело: какой в самом деле интерес могла иметь для нее новая встреча с автором мемуаров? Всё, относящееся к мемуарам, было у нее далеко впереди.

— Ну, не зачем-нибудь, а так просто, поболтать... Пишущие отовсюду собирают впечатления, как пчелки нектар, чтобы слепить что-либо читабельное. А вы, пожалуй, самое любопытное создание из всех, кого покуда здесь встретил.

— Кажется, полагается благодарить. Но я терпеть не могу делать то, что полагается. И у «любопытного создания» чертовски мало времени, чтобы жить! Восемь часов в бюро — это, конечно, эксплуатация и уродство. Остальное — пляж и вообще расписано по минутам. Впрочем, вы, может быть, мне и понадобится...

— Это когда откажет опять батарея?

— Нет, совсем по другому поводу. Так что не портите себе больше рабочего утра. Я найду вас сама...

\*\*  
\*

«Я найду вас сама». Вечность уже не слышал такого обращенного к себе скрытого запрета: я не

должен, видите ли, пытаться встретить ее. Забавно, конечно, но...

Но я приехал сюда из-за океана для книги воспоминаний, которую должен был сдать в издательство осенью и которую, казалось мне, только и мог написать тут, на этом северном взморье, среди замирённого — корней древних викингов — прекрасно цивилизованного народа, язык которого знал, в окружении черепичных крыш и шестисотлетнего медного перезвона, под который, как я уже говорил, так плавно ложились на бумагу слова.

И вот теперь — перестали ложиться!

«Мемуары, говорят, пишут древние старики».

Древность эта, конечно, понятие относительное. Лет двадцать назад, например, встретил я как-то одного почтенного ученого. В руках у него был букетик цветов, который, объяснил он мне, преподнесли ему по случаю его семидесятилетия. «Трудитесь над мемуарами?» — спросил я его, так как знал, что интересного перевидал он немало. «Для мемуаров я еще недостаточно стар!» — пробурчал он сердито и отвернулся; мне писали потом, через несколько уже лет, что женился на своей секретарше.

Эта относительность древности со всякими бодряческими с французского: «Возраст существует только для лошадей» — была, конечно, у меня на вооружении, наряду с еще крепкими мускулами, но не имела никаких «с подлинным верно» со стороны.

Даже напротив: идешь где-нибудь по пляжу или просто по улице, и сыплет, строчит перед твоими глазами чужая молодость; цветет навстречу, как ландыш, черемуха, душистый табак либо горошек; ты уже задышал всей грудью, тянешь-



ся на эту свежесть и аромат, — и вдруг взгляд по тебе, совершенно невидящий, как по забору и пустоте, как локтем в трамвае, и даже хуже, потому что вполне и безукоризненно безразличный. И вот камнем на плечи — твои с гаком уже пятьдесят, и едва вынудишь шагать ноги в этом кошмарном и словно бы каждый раз новом открытии, что жизнь-то прошла, что только мизерный и полупригодный кусочек остался, и всё это не как-нибудь лирически: «куда, куда вы удалились?», но — с болью, вроде зубной, случается, что и вовсе непереносимой, когда хочется заплакать, завывать по-звериному: «Караул! Ограбили! Кто? Когда? Как случилось? Как не заметил?!.»

В свете таких самокритических размышлений я, понятно, отложил думать о нарочной встрече, но решил узнать точнее, кто эта занимательная личность в красном фольксвагене, — узнать у тех общих знакомых, о которых обмолвилась она при встрече.

Мои телефонные разговоры по этому поводу были на вполне детективном уровне, потому что не хотел называть имени, ни спрашивать «в лоб», но — около, обиняками, как в какой-то, с фантами, старомодной игре.

Первые два звонка не дали никаких пересечений; третий — удался!

Это была Моб, сестра Пьера, моего приятеля-живописца, — дружил с обоими, когда жил в этой стране.

Ей, Моб, чуть за сорок, но русской поговорки «сорок два года — баба-ягода» не хватило бы, пожалуй, для передачи удивительной ее свежести и красок, перенесенных братом на множество холстов.

Злые языки говорили, будто она для него больше, чем сестра и натурщица, но — на то они и злые языки. Помимо некоторой возвышенной, я бы сказал, недоступности, была она еще и очень умна, что, по-моему, отпугивало от нее поклонников.

Кажется, в свое время она имела на меня виды, но романа не состоялось, и, к чести ее сказать, она не провозгласила мне за это анафемы. Зато для ее иронии я был предметом постоянной наводки, и наши с ней беседы походили иной раз на маленькие дуэли.

Так и теперь.

— Уверена, что вам приспичило что-то у меня выпытать, и вы только для отвода глаз петляете вокруг, словно гончая! — оборвала она меня на третьей уж фразе.

— То есть как — «выпытать»? Насчет чего?

— Ну, например, насчет Ии Шор.

— Гм... так ее фамилия Шор?

— Вот именно. Она говорила мне на днях по телефону, что познакомилась с одним бодрым еще стариком, который ею нездорово заинтересовался.

— Она так сказала?

— Ну, про старика — это я вам в отместку за скрытность и дипломатию, а остальное подлинно.

— Вот как! Мне интересно...

— Мне тоже! Но больше по телефону вы ничего от меня не узнаете, а приходите ужинать! Договорились?..

Застал я ее очень оживленной, в гостиной, где на маленьком столике перед диваном, на котором держала она обычно книжку из очередных бестселлеров, лежал лист бумаги с крупно выписанными цифрами, который, я тотчас же понял, мне надлежало заметить.

— Платежный баланс?

— Ничуть не бывало, а касается вас. Дата вашего рождения — отправной пункт. Затем: если бы у вас в двадцать, примерно, лет что-нибудь родилось — сын или дочь, а у них, опять-таки в двадцать, тоже, в свою очередь, сколько было бы теперь вашей внучке? Ответ: пятнадцать. То есть, значит, Ие откинуть бы совсем немного годков — и может называть вас дедушкой. Что ж, в общем-то разница в каких-нибудь 35 лет встречалась нередко. Про Восток я уж и не говорю, но и у нас — Жуковский, например, вас даже и обскакал. Но оставим это. Какое в самом деле романтическое начало: почтенный писатель спасает полу совершеннолетнюю амазонку от страшной опасности — опоздать на работу!..

— Между прочим, — продолжает она уже за столом, позвонив в серебряный колокольчик, на что одновременно из двух разных дверей появляются Пьер, ее брат, в загвазданной красками рабочей блузе, и щелеглазая горничная из местной полуарктики, — между прочим, я сказала Ие, что вы хороши с Пьером, а сама я от вас отреклась, так что о нашей дружбе она не подозревает, и о том, что встречаемся. Маленькое предательство по отношению к ней, но пусть будет так.

— Пусть будет, — говорю я.

— И это означает также, что я готова быть вашей союзницей. Кланяйтесь и благодарите!

Я благодарю, не подозревая, какие веские поводы для такой благодарности появятся у меня впереди.

В застольной беседе узнаю кое о чем. Да, она в самом деле ушла от родителей, Ия, живущих через пролив и весьма состоятельных. Взяла студен-

ческий заем и два года была на философском, кажется, факультете.

— Такой девчонкой?

— Она вундеркинд! И ей, знаете, даже ученую сулили карьеру. Книжку очерков напечатала о дальнем севере, где ходила на лыжах.

— А теперь?

— А теперь, вот совсем уж недавно, всё бросила и очутилась не то в рекламном, не то в туристическом бюро, шеф которого, говорят, от нее без ума. Одержима скоростями и носится на своей пожарного цвета машине сломя голову, так что уже дважды угодила в полицию. По счастью, не хватает у нее шишей на гоночную, иначе наверняка свернула бы себе шею. Кстати: Пьер знает ее не хуже, чем я: купался с ней несколько раз вместе в бассейне и потом упрашивал позировать ему для какой-то очередной скандинавской наяды. На коленях стоял!

— Вздор насчет «на коленях»! Но удаются такие природе нечасто, и перцу у нее под хорошенькой шкуркой — хоть отбавляй! — говорит Пьер. — Увы! богема и мечется. Квартиры меняет одну за другой.

— И постельных мальчиков.

— Довольно, Моб! — говорит Пьер.

## 3

«Я найду вас сама»...

Нашла она меня неделю спустя. В праздничное послеобеденное, сероватое и ветреное, подле моей пляжной будки, в песчаной широкой воронке, сделанной для того, чтобы ветер по своему усмотрению не переворачивал читаемых вами страниц.

Впереди ее бежала крохотная рыжеватая собачонка, похожая на выкусанный уже кукурузный початок, с нервными выпуклыми пуговицами глаз.

Было на ней в этот раз нечто во вкусе «волосатиков» — потертые джинсы цвета утопленника, с заплатой на маленькой ягодице, и местные довольно уродливые сабо с большим раструбом, в котором, однако, пряталась очень ухоженная ступня с розовой пяткой и выкрашенными кармином ногтями.

— Устала, пока разыскала вас! — сказала она, скидывая сабо кувырком в стороны. — Поэтому сперва окунись. Открыта ваша кабина?..

Она вернулась через минуту в двух красных поперечинах и побежала мимо меня, печатая по песчаному скату матово-золотистые следы. Початок, несясь за ней по пятам, связывал их своими, как пунктиром.

У меня не хватило простоты подняться за ней, крикнув, как следовало бы, по-стариковски, и я следил только издали, как она, бесконечно долго, балансируя тонкими руками, шла навстречу «моряку» и брызгам из-под скалистых камней и стала уже совсем маленькой, когда упала на встречную волну и поплыла.

То, для чего я ей понадобился, был переклад на русский язык торгового объявления одной местной текстильной фирмы.

Сбегав в будку, она принесла скрученную трубкой тетрадку с печатным вкладышем внутри и собственными переводческими попытками, довольно беспомощными, но — и то сказать: переложить подходяще для советского потребителя тон западной рекламы не так уж просто.

Текст был невелик, я продиктовал ей его порусски за какие-нибудь четверть часа.

— Здорово! — сказала она (было вообще у нее в языке порядком энергичного просторечья). — Эта фирма связана с нашим бюро, но гонорар будет мне особый. Половина — вам!

— Не пойдет!

— Почему? Я получила заказ — вы его выполнили. Категорически — пополам! — и то уж бессовестно с моей стороны.

— Давайте тогда тетрадку обратно.

— Если, — прищурилась она на меня, и даже поросль на тонких ее руках, вставшая дыбком, дышала протестом, — если вы не признаёте равноправия, забирайте ваш перевод, и больше с вами мы не знакомы!

Что наши представления о равноправии расходились, сомневаться не стоило. Удивительно было то, что эта поблекшая тема сложилась у меня вдруг в предолгий и даже патетический монолог с разными дальними экскурсами и касательными. Влияла, вероятно, аудитория, сидящая по-турецки напротив с мокрыми коленками, исподу облепленными песком, и вот-вот готовая вскинуться; может быть, тоже — прислушивающаяся вокруг мягкость прибоя, серого неба, недвижных сосен...

Говорил же я о той не имеющей заменителей вершине, на которой, по-моему, должна бы стоять женщина — воплотительница недостающего живому миру гармонического начала. Забрел я тут далеко, прихватив даже и вечную женственность... «Стремление теперешней женщины, — говорил я, — быть иным, чем ей быть свойственно, привело уже к катастрофам: распаду семьи, трагическому

одинокости детей, оторванных от материнской груди не только в буквальном смысле. Движение «волосатиков» — яркий тому пример. Будущее этого одичания женщины в условиях избыточной цивилизации — противозачаточных пилюль и синтетического грудного молока — представляется мне иной раз в виде бесконечной пустыни, выложенной от горизонта до горизонта рыжим нейлоновым ковром. Последний мужчина, обезумевший от мытья посуды и стирки своего и жениного исподнего, покончил самоубийством. Между зарослями стиральных машин и холодильников хищно бродят старухи в папилютках и кратчайших шортах над жилистыми, в синих склеротических узлах ляжками; бродят в поисках несостоявшихся ощущений и идеи нового женского клуба»...

— В этой чепухе, — сказала Ия, позёывая, — есть полторы мысли, но мне сейчас как-то лень с вами спорить. А стихи вы не пишете? По тому, что говорили о женщине, — что-то средневековое и из Соловьева, — я предполагаю, что — да!

Что она различила в монологе моем Соловьева, было удивительно. Но она вообще была необыкновенно начитана и памятьлива. «Вундеркинд» — по словам Моб.

— А если бы я писал стихи, стали бы вы их слушать?

— Может быть. И попросила бы вас написать вот этот пейзаж, что сейчас.

— Стихи не мои, но — пожалуйста:

Эти скалы, сосны эти,  
Кружевным зигзагом — сети,  
И фарфоровый песок;  
Ветер, ветер, ветер, ветер  
И маяк наискосок...

Как всё серо! Грусть иль нежность,  
 Чем, скажи, она полна —  
 Эта мгlistая безбрежность,  
 Эта низкая волна?..

— Ностальгия! — перебила она меня. И немного спустя, зевнув снова: — Больше всего люблю Маяковского!..

Становилось всё ветреней. Купальные ее доспехи высохли и налипали на кожу резким пунцовым штрихом.

— Красное — это тоже любимый ваш цвет?

— Да, красный и желтый. Еще — зеленый. Если бы удалось создать независимое государство, о котором мечтаю, цвет флага был бы красно-зелено-желтый.

— А какие независимые будут жить в вашем государстве?

— Молодежь.

— Независимые от чего?

— От отживших уже поколений. Таких, как ваше...

4

Она позвонила мне домой дней через пять, поутру: три дня и три ночи, по ее словам, трудилась над переводом какого-то русского туристского проспекта. Кое-что в тексте ей было неясно.

— Я бы заехала к вам после работы. На пляж. Если будете там.

— Буду.

— За помощь приглашаю вас в воскресенье поужинать. В «Три короля» — это мой любимый «инн», и там здорово кормят. И джаз... Что? Ина-



че не состоится. Это — вы знаете по-латыни?  
— *conditio sine qua non*.

Знаю ли я по-латыни? Экая маленькая наглость!

— Ну, если *sine qua non*, — я согласен!

С переводом на этот раз провозились долго. Смущали ее, оказывается, архаизмы в описании церковной архитектуры и утвари, пропущенные советскими составителями словарей ради «религия — опиум для народа» и из перестраховки.

Не состоялось и купанье, но спорилось на фоне сумерек хорошо.

Началось — с волос, которые она обрезала почти «под горшок», напоминая теперь благочестивого отрока русских лубочных картинок.

Я сказал ей об этом.

— Моему теперешнему другу нравится эта прическа, — объяснила она. — К концу сезона, верно, перемену.

— Друга или прическу?

— И то, и другое. Смелее, смелей! Вижу в ваших глазах всю иронию предков, и — «какой это по счету друг в моей жизни?» Ведь так?

— Допустим.

— Который по счету? — повторила она, и, наморщив переносицу, стала загибать один за другим пальцы на узенькую ладонь. Заполнив одну, загнула было на другую два огненно выкрашенных ногтя — и один разогнула опять.

— Шестой! — объявила она.

— Сколько же это обещает в перспективе? Лет этак к сорока?

— Нисколько, потому что так долго я жить не хочу.

— Что за вздор!

— Совсем не вздор! Жизнь кончается вместе с молодостью — и вам нечего больше делать. Это — как в театре, когда опустился в последний раз занавес. Вы же тогда уходите? Ваше поколение, я знаю, имеет расписание тоже и на пору вставных челюстей и богаделен. У меня такого расписания нет. Всё!..

Мой монолог о жизни для старых и малых и, с особым нажимом, — о единственности выбора «спутника», о двоих, взаимно ищущих и «угадывающих» друг друга, вряд ли был нов для нее, но — задел: отповедь последовала довольно любопытная, которую привожу:

— Вы убежденно древний! — сказала она задиристо. — Почему это русские так и остались в плену у сентиментализма, в слезах над «Бедлизой»... А между тем Пушкин так гениально предсказал нам скептицизм будущего! У него эта бедная Лиза, соблазненная гусаром, приезжает на могилу отца в карете шестериком, а сам отец ее — фигура прежалкая. А другая девица — это в «Пиковой даме» — приглашает офицера прямо к себе в спальню, когда ей надоедает собственная добродетель и жизнь у вздорной старухи. А этот офицер, пренебрегший сексом ради бизнеса: три карты и никаких нежных чувств! Или Печорин, первый экзистенциалист в русской литературе, свращавший девственниц и чужих жен от делать нечего! И всё это почему-то отвергли ваши критики и ханжи, вроде вас; поставили надо всем этим Толстого, этого Карла Иваныча русской литературы. «Мне отмщение и Аз воздам», Наташа, разглядывающая испачканные пеленки... Фи!..

И в воскресенье за ужином:

Она курит какие-то сладко пахнущие узкие сигареты и плющит их в раковине-пепельнице, не дотянув и до половины. После каждой затяжки у нее чуть стекленеют глаза.

Может быть, впрочем, мне это только кажется: вокруг полупотемки, в низкой плошке посреди столика почти блуждающий свет — пунцовая, в узкую складку-плиссе блузка напротив то зальется огнем, то погаснет, и так же огненно то вспыхивает, то гаснет ее жующий рот.

Она заказала себе какое-то балканское жареное, к которому подали целый стог паприки — узкие, едва посеченные стручки, почти целиком. Помню, когда-то в Париже, в одном ресторане недалеко от Нотр-Дам, я пробовал это блюдо — и каждый кусок обжигал и, проглоченный, взрывался миной еще в пищевод.

Но ей эти огненные ломтики, ловко подхватываемые крупно накрашенными губами, были очень к лицу.

— А вы? — спросила она. — Паприки?

— Мне нельзя паприки.

Она вдруг засмеялась, остановив вилку с двумя красными дольками на весу.

— Виновата, что смеюсь, но как это в нашем случае символично! Вот где пропасть между вами и нами: ничего острого!

— Кто это «мы» и «вы»?

— «Вы» — вы, например, лично, и те, которые с вами, блюстители традиций и трюизмов, которые считаете вечными на том основании, что, скажем, в Большой Медведице вечно семь звезд.

— А вы хотели бы укоротить ее на одну звезду?

— Вы звездочеты! — продолжала она, не слушая. — Вы и вам подобные всю жизнь смотрели на небо и просмотрели землю; составляли гороскопы для человечества и просмотрели подлинное человеческое лицо.

— В чем, интересно, оно, это подлинное лицо?

— В том, что человек рождается уже с сознанием неполноценности жизни, которое вы стремитесь у него заглушить. Да, да! вы стремитесь сделать нас своими бездумными обезьянами, лишенными собственных, не ваших, идей. И половину этой единственной жизни вы заставляете нас готовиться стать такими же беззубыми, мелочными, жалкими, с мыслями и желаниями радиусом из одной комнаты в другую, словом — такими, какими мы вас так презираем! О, лучше не родиться! Лучше...

— Наркотики, например?

— Пусть!.. Острота — вот что нужно теперешнему пресному миру. Всяческая острота!

— До бомбы включительно?

— Может быть! — согласилась она, подбрасывая нацепленные на вилку дольки паприки в рот.

«Бычья кровь» — называлось вино, которое лилось на этом поединке «мы» и «вы».

— Гениальнейшее у Достоевского, — говорила Ия, мелкими глоточками отхлебывая из стакана, — его формула «самостоятельного хотения» как мерило человеческого достоинства. Вы спрашиваете: за что мы? Мы за самостоятельное хотение и поиски нового. Вот за что!

— Есть ли в этих поисках действительная новизна? Полвека назад, например, в России про-

исходило кое-что очень сходное. Почитайте «Хождение по мукам» Алексея Толстого! Любовь, сострадание, чувство чести — высмеивались, считались пошлостью. Всех тянуло, пишет он, на острое, раздирающее внутренности. Девушки стыдились своей невинности, супруги — верности. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. А сразу после революции разыграла преступность. На улицах Петрограда, например, появились «попрыгунчики» — предприимчивые бандиты, которые подвязывали к подошвам особые пружинки и налетали на прохожих почти с воздуха...

Не уверен, что этот заключительный монолог так уж хорошо дошел до нее, — посветлевшие над блуждающим пламечком глаза смотрели, я видел, куда-то мимо меня. Но о «попрыгунчиках» дошло.

— Попрыгунчики — это идея! — сказала она.

## 5

Мемуары мои застопорились, споткнувшись о «сегодня»; прошлое и теперешнее перепутались, как в бреду.

Она словно была включена во что-то, некогда мной пережитое, эта девчонка, — во что-то, бывшее когда-то моим, и это что-то, повторившееся в ней, не отпускало меня, как ни старался: я высчитывал до встречи с ней дни, часы и минуты. Знаю всё, что мог бы сказать мне любой душевед-психиатр, доброжелательный циник, но — не подходит ничто!

Встреч без надобности в каком-нибудь пере-

воде у нас не случалось. Подпись к иллюстрированному проспекту местной деревообделывающей промышленности и одно глупейшее описание какой-то упаковочной машины составили целых четыре встречи.

«Эти четыре гайки не затягивать, пока не проверено действие шатуна»... — медленно диктую я, глядя на отливающие синим пряди волос, падающие ей на лицо, и — как передвигается по песку золотистый локоть записывающей руки. Мне вдруг приходит на память «Зависть» Олеси со сходным контрастом: герой переписывает вечером какую-то гиль насчет изделий из бычьей крови и вспоминает девушку, которой любовался днем.

Я подшучиваю над этим контрастом, но, хоть Ия повесть и помнит, шутка остается без внимания.

Кое-что, правда, задевает ее иной раз за живое.

— Уж конечно не люблю Чайковского! — отвечает она, когда я спрашиваю о ее вкусах в музыке. — Этакая манная каша с вареньем!

— А кого же тогда?

Она не задумываясь называет мне одного местного композитора-шумовика.

— Это не музыка! — говорю я.

— Нет, чёрт возьми, музыка! — говорит она, убегает в будку и возвращается с чем-то в футляре, зажатом в руке.

В футляре — губная гармошка.

— Сейчас сыграю вам из него! — говорит она и, усевшись по-турецки, подносит гармошку к губам. Початок, взволнованно виляя хвостом, устраивается слушать напротив.

Она выдувает какофонию рождаемых металлических пицками звуков, взвизгивающих тире и запятым хвостом вверх.

По правде сказать, я тут же и перестаю слушать, следя больше за ритмическими движениями ее локтей, вскинутых над плечами, и наклоненного, почти закрытого кистями рук лица.

На какое-то мгновение мне слышится, будто запятые выкрикивают некую затаенную тоску, но тут происходит непредвиденное: Початок, вскинув вверх мордку и вытянув крысиный хвостик, вдруг подвывает в тон запятым двумя пронзительными нотами, и Ия, опустив гармошку на голое колено, смеется и треплет его по спине.

Гармошка соскальзывает с колена, я поднимаю ее, стираю прилипший песок и засовываю в футляр.

Тут же случается и еще один незначительный эпизод.

Покуда мы музицируем, сидя вполоборота к морю, вдоль берега прошагивает группка волосатых, человек пять-шесть. Один из них, вывернув шею, долго глядит в нашу сторону (ему видны из воронки наши головы), потом отворачивается и, вложив пальцы в рот, дико свистит.

Услыша свист, Ия вздрагивает, смотрит, поднявшись, вслед лохматой удаляющейся голове, и темная краска — это я вижу у нее в первый раз — накатывается на ее щеки и течет к плечам.

— Пожалуйста, не провожайте меня! — говорит она недружелюбно. И — немного спустя — еще недружелюбнее: — Что вы меня так разглядываете? Написано на мне что-нибудь?

— Разглядывал вас не я, а один из свистунов, которые только что прошли мимо. А написа-

на на вашем лице досада, что нас видели вместе. В самом деле, скажут потом: чёрт с младенцем...

— Простите, — перебивает она меня с усмешкой, из которой недобро выглядывает своевольно растущий зуб. — Кто именно из нас двоих чёрт?

— Я, разумеется! Принимая во внимание возраст.

— Вот не знаю, — говорит она с коротким смешком, — важен ли возраст для чертей, но — какая полярность представлений у нас обоих! Вы — чёрт? Вы — не сердитесь — старый, смешной звездочет, у которого от заданной бабушками невинности и моральной оглядки непременно бы выросли ангельские крылышки, если бы... — она помедлила, прищурившись на меня, — если бы не подвержен был сам разным мелким искушениям и грешкам. А во мне — во мне, верно, с полдюжины разных хвостатых бесов и бесенят; за каждого следует геенна огненная...

И прощаясь:

— Не целуйте мне руку! Что это еще за семнадцатый век!

Я говорю ей что-то о приятности прикосновения, которая естественна для человека моего типа и возраста и лежит где-то посередке между этикетом и Фрейдом.

— Может быть, может быть... — перебивает она. — Но мне скорей неприятно — и всё!

\*\*  
\*

Я диктую перевод на русский — бережно, как если бы это был шекспировский сонет, а не нелепое описание машины, и невольно, почти без



умысла, растягиваю время: вокруг блаженнейшее солнечное тепло, штиль, и над головами орудие чайки.

Она записывает, лежа животом в песок, придавив локтем блокнот и побалтывая в воздухе ногами.

Когда, чуть приподнимая голову, переспрашивает что-нибудь, узкая в форме знака бесконечности поперечина, прикрывающая ее соски, отлипает, и я отвожу глаза.

Кажется, это ее забавляет.

Чайки и соски мешают мне диктовать.

Перед последним крупным абзацем она бежит в воду, и потом мы вместе ходим по берегу, ища янтарь.

— Это дурацкое занятие мне осточертело! — говорит она, вороша ногой выброшенные на берег водоросли. — Когда я вожу сюда экскурсии, мы всегда ищем янтарь. Отдать сделать из него брошку вдвое дороже, чем купить новую, но все ищут...

Ищем и мы, покуда она не наступает на что-то, отчего у нее на пятке оказывается глубокий порез. Идет кровь.

В будке у меня аптечка, я накладываю довольно громоздкую повязку, которая тотчас же и соскакивает, когда возобновляется диктовка и болтанье ногами.

— Попробуйте еще раз! — просит она, лежа на животе и останавливая пятку в воздухе.

Во второй раз мне удастся лучше, но... происходит срыв! Слишком близко перед моими глазами это каштановое, лучащееся мелкими солнечными искорками тело и слишком умышлен соб-

лазн. Я почти ощущаю на себе косой, через плечо, оскорбительно выжидающий взгляд.

За первым рывком-касанием — целая очередь других. Но — нет! — матерчатая влажная кромка, царапнув мои губы, вырывается, как птица из клетки, унося в клюве тепло... Я почти задыхаюсь.

— Пошла одеваться! — говорит Ия. — Как часто, кстати, проверяете вы давление? Мой дедушка делал это непременно раз в месяц.

По пути к фольксвагену — молчание, и я вижу недобрую усмешку, трогающую уголок ее рта; без слов.

— Таковы все звездочеты! — говорит она потом. — Вечная женственность, поклонение, Галатея, а чуть что — с Галатеей стягиваются бикини. Насколько же мы прямее и правдивее вас!

— Вы так думаете? Даже после этой... ловушки?

Она не отвечает, покуда мы не выходим уже к стоянкам. И, открывая машину:

— Ладно, квиты! беру обратно слова. Была очень зла, почему — даже не понимаю.

— Ну, это ясно: как смел я предположить, что мой порыв был вам нужен. Но я и не предполагал, просто хотел проверить.

— Знаю... Вы очень умны. Нет, я злилась и на себя, что все это спровоцировала. А теперь досадно, что могла злиться на такие пустяки. Разве не всё — всё равно?

— Равнодушие?

— Скука! — зевнула она.

Уже забравшись за руль, она трогает мое плечо через отвернутое окошечко:

— Давайте заключим с вами конвенцию на будущее. Чтобы — без всяких кинороманов и церемоний. Два существа без полу, наполовину голые из-за жары, трудятся в поте лица над переводами ради денег и любви к ближнему. А?

— Идет.

— Еще один пункт: у вас, я видела, есть камера. Не снимайте меня никогда!

— Согласен и на это.

— Значит, лады!.. И, пожалуйста, продиктуйте мне конец по телефону!

Последние слова — в буйном витке с парковальной площадки; красный задок фольксвагена исчезает из моих глаз, как выпущенный из прачи; на дальнем крутом повороте удерживает его только одно приземленное колесо...

\*\*  
\*

И после моего звонка — дискуссия по телефону же, все насчет того же конфликта: «МЫ» и «ВЫ».

— Что, собственно, у вас есть, кроме всеотрицания? — спрашиваю я. — И этот ваш лозунг «самостоятельного хотения», он тоже не конструктивен.

— Почему? Если представить себе, что каждый, живя по собственному хотению, станет доволен, то по вашей же стадной статистике выйдет, что это будет общество счастливых. От счастья им не захочется ничего «преступить», как вы опасаетесь.

— Не думаю. Трагедия ваша — в отсутствии идеи служения, — любого, хотя бы крохотного, но именно не самим себе. Это погубит вас!..

— Вы нас очень не любите? — спрашивает она, и я мысленно вижу брезгливую складку на переносице.

— Невпопад! Напротив, люблю, и как Карл Иваныч, над которым вы давеча подтрунивали, переживаю ваши заблуждения. Их размах и аллюр мне отчасти и нравятся, потому что свойственны молодости, а молодость, как цветение черемухи, нельзя не вдыхать в себя. Не сочтите, однако, за комплимент.

— Не беспокойтесь! — говорит она и вешает трубку.

## «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»

*Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном.*

И. Бунин

## 1

— Послушайте! — говорит Ия, и я вдруг впервые отмечаю про себя, что она никогда не называет меня по имени, но только вот этак: «Послушайте!» или «Хочу вас спросить» или «Знаете, что?» — словом, в этом же роде.

Может быть, то равнодушие, с которым она ощущала меня как особь противоположного пола, вызывало такую отвлеченность? В самом деле: ведь все прочие обращения — с «вичем», по фамилии, полным именем или уменьшительным — всегда содержат шепот эмоций, уважительных, отрицательных, ласковых или прочих. Здесь не было никаких — я был просто ей нужен.

Это «послушайте!» произносит она подходя вместо приветствия, чуть запыхавшись и сошвыривая с ног пробковые сабо. — У меня к вам важное дело. Сейчас разденусь и расскажу.

Я уже знаю, о чем пойдет речь. Моб (мне следовало, вероятно, об этом раньше сказать) не оставляла меня информацией. Вчера вечером узнал от нее по телефону, что одно крупное местное издательство предложило Ие перевести с русского

какую-нибудь занимательную книгу. «Ия, — сказала она, — ухватилась за это и мечтает теперь уйти из своей конторы, потому что тамошний шеф въехал уже ей в печёнки: предлагает кругосветное с ним путешествие, а паренек, постельный ее друг, бунтует. Она намерена обратиться к вам за советом, и я поддержала ее в этом порыве. Не правда ли, товарищеская услуга? Запишите на мое konto».

Всё это, кроме как про шефа и постельного друга, Ия и рассказывает мне, скинув джинсы и свитер и деловито усевшись рядом так близко, что задевает меня плечом.

— Видите ли, они хотят непременно что-нибудь эротическое из русской литературы. Вы знаете: теперь это модно, это теперь читают. Но — что? По части эротики, я думаю, в русской классике совершенная нищета. А? могли бы вы посоветовать что-нибудь?

Эротическое из русской литературы! Это в самом деле захватывает врасплох. А нетерпение, которое ощущаю рядом, мешает думать.

— Я просмотрела арцыбашевского «Санина», это прямо умора, что казалось смелым в области секса нашим предкам полвека назад! И как бедно написано! — говорит она.

— Лучшее в части эротики у нас, пожалуй, — сцена соблазна Катюши Нехлюдовым из толстовского «Воскресения». Софья Андреевна была вне себя от того, что семидесятилетний Толстой, по ее словам, смаковал эту сцену, как гастроном вкусную еду, и называла этот роман «ненавистным». Тоже один американский квакер прислал Толстому возмущенное письмо и...

— Ах, — перебивает она меня, — ведь это только отрывок! Меня же не просили составлять

антологию, но что-то целое. Неужели не можете ничего найти? Мне там же, в издательстве, называли еще «Суламифь» Куприна. Что вы о ней думаете?

— Думаю, что это просто стилизация «Песни песней». Оригинал выразительнее.

— Значит ни черта не получится! — говорит она в сердцах и встает.

Лицо у нее сейчас злое, как у медузы, ветер треплет змейками прядки волос. Но от загорелой, в искорках, кожи, от всей ее ювелирной, солнцем облитой стати в оправе песчаных дюн, сосен и голубоватого воздуха такая струится радиация, что в моей памяти взрываются разом целые залежи пережитого — в слове, красках, звуках, касаниях, и меня озаряет:

— Бунин! — говорю я. — Кажется, я нашел. «Темные аллеи»! Это как раз то, что вам нужно. Я назвал было сцену из «Воскресения» лучшим в русской литературной эротике. Отрекаюсь от этих слов, — великолепнее «Темных аллей» в этой области нет. Может быть, даже и не только у русских писателей. И, как ни странно, книжка не переведена еще на здешний язык.

— О!.. — только и произносит она и, усевшись на песок снова, забрасывает меня тучей вопросов. Сколько в «Темных аллеях» страниц? Нужно ли переводить всё или только отобранное? И о самом Бунине, о котором знает совсем немного: как случилось, что автор скучной «Деревни» и очень надуманного «Господина из Сан-Франциско» стал вдруг трубадуром любовных утех?

Я совершенно сражаю ее, сказав, что был знаком с Буниным, что получил от него в подарок экземпляр «Темных аллей» и что этот экземпляр по

странной случайности переплыл со мной океан и сейчас — на полке в моей здешней квартире.

Всё это, вместе с последовавшим затем целым рефератом, впервые, кажется, по-настоящему привлекает ее внимание; склад ее губ и бровей выражает нечто уважительное, и я жду даже, что вот-вот она станет величать меня по имени-отчеству.

«К какому «изму» надо отнести мастерство Бунина?» — спрашивает она, и я не очень знаю, что ей ответить: когда-то в одной рецензии я назвал Бунина реалистом и получил от него негодующее письмо. Трудно определить однословно — говорю я — личное в таланте художника, Бунин же был талантом личным из личных. Пронзительная, как ни у кого, влюбленность в жизнь была в его книгах через край, и через край же — буйство любви. Преданность красоте была почти религиозная, пантеистическая:

И месяц наклонялся к балке темной,  
Грустя, светил на землю, на погост,  
А Бог был ясен, радостен и прост.  
Он в ветре был, в моей душе бездомной —  
И содрогался синим блеском звезд...

Я долго рассказываю Ие о своих визитах на улочку Сффенбаха в Париже, о Бунине-собеседнике, острых его суждениях — отрицании Блока, нетерпимости к Маяковскому («Он был одарен только холуйской глоткой, ваш Маяковский»), его остроумии и злословии.

Потом ловлю себя на том, что, собственно, пересказываю ей одну из немногих законченных главок своих мемуаров.

А когда кончаю — она снова оказывается тесно рядом со мной и кладет мне на плечо руку.



— Скажите, — спрашивает она. — Если я подпишу контракт на эту книгу с издательством, согласны вы мне помогать? Язык Бунина, я знаю, труден для перевода, одна не справлюсь. Но работать тогда придется весь день, с утра. Допустим, я возьму отпуск, но — вы? Или вы трудитесь ночами?

Мне не хочется признаваться, что давно уже пишу только по утрам. Согласие поставило бы крест на моих мемуарах, на добрых отношениях с издателем, лишило бы всякого смысла здешнее мое житье.

Я почти ощущаю уже решимость отговориться, но и — одновременно — какую-то сладкую щекотку в жилах, а в ушах: «Запишите на мое konto!» — из вчерашнего телефонного звонка Моб.

И я говорю:

— Хорошо, я согласен.

— Из трети гонорара! — вставляет она.

— Без всякой трети. Я не собираюсь наниматься к вам в литературные батраки, но только помочь.

— За так?

— За так.

— Послушайте!.. — вскидывается она, но тут же стихает, закусывая нижнюю губу, и я понимаю, что на этот раз взял верх. — Ладно, поглядим! — говорит она, помолчав, и потягивается, открывая оральные палевые, как раковинки, подмышки. — Искупаюсь и поеду за «Аллеями» в библиотеку.

— Можете взять их у меня.

— Нет, я достану. И буду читать всю ночь. А вы тоже перелистайте всё вечером и сделайте

те отбор! — распоряжается она и бежит вниз, к прибою.

Так начинается в нашей истории эра «Темных аллей».

## 2

Она звонит мне на следующий день чуть свет, что не нашла книги и чтобы я непременно захватил на пляж свою.

Приезжает уже перед сумерками, с посеревшим лицом и усталыми скулами.

Этой способности юниц ее возраста вдруг блекнуть до изнеможенности и снова столь же мгновенно расцветать я удивлялся давно, но у нее такие контрасты были разительны.

Я решил про себя, что сегодня же вечером наведу у Моб справки, но она, усевшись, как пришла, в джинсах и свитере, начинает непривычно доверительно сама:

— Знаете, я порвала сегодня со своим бюро. Уволилась, даже и с шумом, то есть были кое-какие неприятности. Но не жалею. Мучит меня только, выйдет ли у нас с переводом? То есть не с переводом, но с книгой самой. Видите ли: они опять звонили сегодня, что хотят непременно эротики, только эротики — и ничего больше! Не обижайтесь, но я боюсь: не преувеличили ли вы этой, ну, как сказать?.. прямоты, что ли и откровенности сексуальных тем. Ведь критерии могут оказаться различны...

— Критерии мои и — волосатиков?

— Ну, пусть так.

— Я уверен, что они пройдут по «Аллеям», затаив дыхание. Это ведь не бульварное чтиво, но творческая правда и рука мастера.

— Вы уже выбрали что-нибудь, наверно? Расскажите мне или почитайте немного, — просит она и, закрыв устало глаза, закидывает руки за голову.

Задача нелегкая! Отобрано: «Стёпа», «Таня», «Генрих», «Чистый понедельник» и кое-что еще — всё подлинные шедевры русской эротической новеллы; но как их расскажешь?

Я все-таки пробую.

— Вот, — говорю я, — например, история Стёпы, дочери старика-хозяина постоянного двора. Ее растлевают от нечего делать, проездом, знакомый полупомещик-полукупец. И облик этой девушки, почти подростка, которая влюблена в своего соблазнителя, и вся сцена сближения написаны так, что читатель будто тут же присутствует, сам-третей. Она плачет, вся в сладком отчаянии, и вам кажется, будто слезы ее каплют на вашу собственную ладонь. Я не преувеличиваю: Бунин в любовной тематике могучий художник, слово его зримо и захватывает вас целиком.

Вот в другом рассказе: юноша-барчук овладевает горничной Таней, по восемнадцатому году; приходит ночью за перегородку в прихожей, где она спит. Я подчеркнул в книге несколько особенно ярких пассажей. «Она навзничь лежала на деревянной кровати, в одной рубашке и бумазевой юбчонке, — под рубашкой круглились ее маленькие груди, босые ноги были оголены до колен... ..Он разъединил ее ноги, их нежное, горячее тепло, — она только вздохнула во сне»...

Живопись, как видите, вдохновенно проста и жжется. Или — в новелле «Галя Ганская»: девушка пришла в мастерскую художника. Она невинна, но развращена внутренне, жаждет муж-

чины и, кажется, влюблена в эту местную знаменитость, от лица которого ведется рассказ:

«Я стал как попало раздевать ее, она поспешно стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с нее шелковую блузку, и у меня, понимаешь, просто потемнело в глазах при виде ее розоватого тела с загаром на блестящих плечах и млечности приподнятых корсетом грудей с алыми торчащими сосками; потом от того, как она быстро выдернула из упавших юбок одну за другой стройные ножки в золотистых туфельках, в ажурных кремовых чулках и этих, знаешь, батистовых панталонах с разрезом в шагу, как носили в то время. Когда я зверски схватил ее в этот разрез и повалил на подушки дивана, глаза у нее почернели и еще больше расширились, губы горячечно раскрылись»...

Вот и глаза Ии рядом, я видел, уже широко раскрыты. Она складывает губы дудочкой и свистит, что должно, видимо, означать изумление.

— Я спасена! — говорит она. — Какая почти современная смелость!..

\*\*  
\*

Литературное батрачество, от которого я отрекался, осуществилось, тем не менее, всерьёз, на целые три недели.

Как-то сразу выяснилось, что домашние переводы Ии подолгу приходится исправлять, и решено было переводить всё совместно и начисто.

Трудовой день длился шесть часов с перерывом на плаванье, пререкательные, главным образом, отступления и завтрак.

Утром я заезжал за харчем, в полдень кипятил кофе на электрической плитке, которая была

у меня в раздевальной будке, и приготавливал бутерброды. В самый первый, кажется, раз Ия снисходительно занималась этим сама, но потом только спрашивала устало: «Когда ж перерыв?» — и я таскал всё в нашу песчаную ямину, под зонтик, где было наше рабочее место.

Сама Ия, впрочем, зонта не признавала и постоянно выкатывалась из-под него за теньевую черту: кожа ее, цвета крашеного луком пасхального яйца, была лучестойка.

— Послушайте! — говорит она в день третий, как припоминаю теперь, когда мы переводим рассказ, где герой со скалистого берега подглядывает за купающейся героиней, любуясь ее сплошным коричневейшим загаром. — Я не хочу сделаться пегой, это отвратительно! Неужели вам будет мешать, если я сниму хотя бы лифчик?

Она не дает мне времени сказать «да» или «нет», а просто сбрасывает с груди красную поперечину, и я вижу их шелковистый, светлей прочего, янтарный отлив, коралловые их мыски и ощущаю щекотные шампанские пузырьки, запрыгавшие у меня где-то в жилах, и отчасти — досаду, что надо теперь привыкать, чтобы всё это не застревало в глазах дольше нормального.

Но я молчу, и она, минуто спустя, спрашивает с презрительной петелькой в углу губ:

— Ну, что вы готовы бы были сказать?

— «Два сосца твои — как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями», — хочу я отшутиться.

— Библия? Что ж, вам, конечно, пора ею интересоваться. И за цитатами удобно прятать собственные свои суждения.

— Что, интересно, хотели бы вы от меня услышать, снявши бюстгальтер? Вот есть еще од-

но подходящее суждение, тоже цитата — в книге, которую переводим.

— Покажите!

Я открываю страницу и тычу пальцем в строку. Она читает:

— «Груды острые, маленькие, торчащие в разные стороны... верный признак истеричек». Хм!.. Такие, вы находите, у меня?

— Ваши, кажется, чуть потяжелее.

— Хотите взвесить в руке?

— Я придерживаюсь конвенции...

Свою нижнюю опояску она тоже сводит на нет, скручивая жгутиком. А после очередного заплыва сушит ее на песке, сидя ко мне боком, с блокнотом на коленях.

Забывшись, поворачивается в той же позиции — заглянуть в книгу, и тогда я силюсь не опустить глаза вниз и сержусь на себя за эти усилия.

— Пожалуйста, не сидите так! — прошу я ее, и она спохватываясь отталкивается рывком, прочерчивая пятками на песке две дужки. «Вы Карамазов!» — бормочет она сердито.

### 3

Одному из гениальнейших русских людей, Пушкину, принадлежит один из гениальнейших же афоризмов: «Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело».

В моей жизни этот афоризм — расхожее мерило моего суждения о ближнем, которое раскалывается лишь о драматическое: «познай самого себя»...

Ия умна. И неужто она действительно видит во мне только нечто карамазовское, помноженное на мои за-пятьдесят и пряные пляжные впечатления?

— Именно это одно и видит! — говорит Моб.

Мы сидим — она, Пьер и я — в их зеленой гостиной, куда меня всё чаще теперь заносит по вечерам, в полупотемках от почти непрозрачного абажура и малиново струящегося пятнышка лампадки в углу.

Сидим и курим.

Моб, захватив дыму, задумчиво выдувает его маленькими гейзерчиками в потолок, и по большому ее лбу, мягкой, боттичеллиевой крутизны, пробегают, как по экрану, письма-мысли. Я прочитываю коротенькую строку ревности и упрека, чуть подлиннее — недоумения и, совсем длинную, — дружеского сочувствия и тревоги.

— Именно это и видит! — повторяет она задорно, хотя я и не думаю ей возражать. — Прочла Ия хотя бы одну страницу из ваших книг, несмотря на то, что очень начитана? Спросила ли раз о мемуарах, которые пишете? о вашей жизни вообще — кто вы, что пережили, чем дышите? Нет, нет и нет! Она допускает вас до себя, потому что в вас нуждается. Мне плакать хочется, когда подумаю, на что вы тратите время, вместо того, чтобы писать своё.

— Для писаний нужны разного рода наблюдения...

— Наблюдать за хищниками надо, не влезая к ним в клетку. А Ия... Ну — на что она вам? Она без ума сейчас от своего толстомясого Карла и несется от вас, с вашего пляжа, сразу к нему. Оба ужинают в этом портовом полупритоне, куда она, кажется, как-то и вас таскала, а потом, я

думаю, он у нее до утра. Что вы-то собираетесь с ней делать?

— Ты так кипяتيشься, Моб, — вступает Пьер, — будто он намерен ее у Карла отбить. Связаться человеку за пятьдесят с такой девчонкой — всё равно, что безногому покупать велосипед, на котором кататься будут другие, — всё это он понимает так же хорошо, как и ты.

Но Моб не снисходит до шутки, в ней несомненно погиб вдохновенный проповедник и обличитель.

— Эти волосатики, как вы их называете, — продолжает она, — которых Ия — от плоти плоть, — прагматисты самого упрощенного толка, себялюбцы чудовищные. Кризис отцов и детей никогда в веках не был таким болезненным, как теперь, именно из-за этого неслыханного себялюбия. Вплоть до преступления:

И на папаш  
 Дети глядят брезгливо:  
 Дескать, родитель наш  
 Пышно созрел для взрыва...\*

Представления о жертвенности — ни малейшего. Мы хотим... Мы требуем... Мы!.. Мы!.. Мы!.. Для нас!.. Эта алчная самость вырастает у них в целую разрушительную программу, где «табу» опять же только их единственное «мы». Для «мы» и в отрицании предпочитают самые притягательные запреты — целомудрие, половая мораль... Отсюда — разврат неистовый, оргазм несовершеннолетних, культ насилия и прочие прелести.

— Думаете вы, — перебиваю я ее, — что чувственность командует и у Ии?

\* Стихи Ивана Елагина.



— Боже мой! — всплескивает она руками. — Он спрашивает!.. Где же писательская ваша наблюдательность, о которой только что говорили?..

\*\*  
\*

Этот монолог Моб вспоминается мне на следующее утро, когда Ия требует вдруг включить в нашу книгу еще одну темную аллею — рассказик «Железная шерсть», оставленный мною без внимания.

Это — о медведях и леших, которые любят женщин «до лютого лакомства» и будят в них самих животную страсть.

Я возражаю, чуть раздувая свое несогласие, чтобы подзадорить ее попространнее высказаться, и впервые, быть может, она этой моей маленькой хитрости не замечает. Да, ей нравится бунинская живопись экстаза овладения и прелюбодейных оргий, и когда, вытянув из моих рук книгу, она порывисто и вперехват вычитывает мне про лешего, который еще страшнее и сладострастнее медведя, у нее горячают скулы:

«При встрече с женщиной он не токмо не боится ее, но, зная, что тут ее самоё ужас и похоть берет, козлом пляшет к ней и берет ее с веселостью, с яростью: падает она на земь ничком, как и перед медведем, а он сбросит порты с лохматых ног, навалится сзади, щекочет обнаженную, гогочет, хрюкает и до того воспалит ее, что она уж без сознания млеет перед ним»... — читает Ия, и я вижу, как несколько раз взмахивают у нее крылышки ноздрей.

— Хорошо, включим это! — говорю я.

Книжка возвращается ко мне; на том же развороте в ней — еще несколько подчеркнутых абзацев живописной эротики.

Мысли у меня бегут по руслу, пропаханному давеча Моб; она, конечно, права: в этом современном бунте молодости против рутины голос пола звонче других голосов; но и то сказать — воинствующему модернизму щеголянье половой распущенностью сопутствовало всегда, становясь модой. Но — как не противятся стадности даровитые одиночки?..

Может быть, мысли эти долетают до Ии, потому что она неожиданно продолжает закруглившийся уже разговор:

— Понимаете... интересна у Бунина психология этих жертв — тех, кого грубо лишают невинности. Они испытывают у него вместе ужас и восторг, плачут «сладко и горестно». Может, так и случается в жизни, но, по мне, это дико и возмутительно... Я вам скажу сейчас про себя, чего никогда не сказала бы, если б не Бунин, — считайте это тем эстетическим воздействием, о котором вы тут как-то проповедовали и которое отводит в человеку здравый смысл на задний план.

Чуть помедлив и косясь на меня, взвешивая, вероятно, мою ли способность выслушать, либо свою — рассказать, она выбирается из-под зонтичной тени и садится шагах в полтора от меня на песке.

Солнце ей прямо в глаза — и она прикрывает их ладонями. Голос ее доходит до меня чуть приглушенно.

Она говорит:

— Мне было четырнадцать лет, когда меня растлил один негодяй. Дальний родственник отца,

он жилак у нас в доме наездами, по каким-то делам. Был тогда, как вот теперь вы, раза в три меня старше, ожирелый такой болтун; когда говорил — в углах рта собиралась пузырями мерзкая пена. Для меня он значил не более старой мебели, но умел рассмешить. Очень. Представлял галчонка в гнезде или пьяного за рулем, лаял, квакал лягушкой. Мне было с ним весело... Чёрт возьми! почему я это вам вдруг рассказываю?.. А, ладно, всё равно! Как-то мы были с ним дома одни. Я — в кресле с ногами, задрал колени, пятками в край сиденья, вот так вроде, как сейчас, а он передо мной на ковре, изображает, как муха запуталась у меня в волосах и жужжит — я трясусь вся от смеха. И вдруг он начинает целовать мне колени! Знаете: дурочкой я не была и в четырнадцать лет, знала всё, что к чему, но, Господи, даже и во сне не могла представить себе эту мразь в роли любовника. Кроме того — о, как потом я именно за это себя презирала! — понятия не имела, что именно в этой позе, в какой были мы, так легко может осуществиться сближение. Когда он схватился целовать у меня колени, даже, помню, чуть прихватывая зубами, я оцепенела от внезапности и изумления. И в то же мгновение — гнусная его лапа внизу, и рывок, — и он вторгся в меня... Я помню: сердце у меня остановилось биться, я задыхалась, захлебывалась от этих страшных толчков; не было мысли, я ощущала только их, только их... Но потом... — нет, потом я не плакала, я пыталась перекусить ему горло — он отскочил, побежал... Я решила его отравить. Всё, всё было приготовлено, обдуманно в мелочах: яд и как подать, но он в тот день не вернулся, позвонил отцу, что уезжает. После погиб в автомобильной катастрофе... К чему я всё это?

Ладно, пусть!.. Во-первых, чтобы вы знали, как ненавижу этих сносившихся развратников, которые так сладко глядят на нас, но для которых мы только вариант онанизма или борделя. Еще — чтобы сравнить с бунинской этой нотой — этой мешаниной обиды и восторга у изнасилованных. Нет, это не по мне! Я бы... Но давайте лучше работать!

\*\*  
\*

За переводами она почти непрерывно курит свои тонкие сигареты. В их дневном варианте, вижу я, нет никакого гашиша, но сладковатый запах их мне неприятен, и из всего Ииноного существа и реквизита — они единственные мои противники.

Раза два, когда она их забывает, я гоняю куда-то на чёртовы кулички, где ими торгуют.

Окурки она топит рядом с собою в песке, и по утрам, до ее появления, я выгребаю их садовыми граблями.

Это неумемное курение у нее отчасти от увлечения: она влюбилась в «Темные аллеи», она здесь — у себя дома и находит в них всё больше и больше «современно звучащих» совершенств.

По ее настоянию мы переводим «Визитные карточки» — рассказ о любовном приключении на волжском пароходе одного писателя со скромной, не очень уж и молоденькой пассажиркой, к которой он ощущает одновременно и жалость и страсть.

Описание прелюбодеяния приводит Ию в восторг:

«Живот с маленьким глубоким пупком был впалый; выпуклый треугольник темных краси-

вых волос под ним соответствовал обилию темных волос на голове... Она наклонилась, чтобы поднять спадающие чулки, — маленькие груди с озябшими сморщенными коричневыми сосками повисли тощими грушками, прелестными в своей бедности. И он заставил ее испытать то крайнее бесстыдство, которое так не к лицу было ей и потому так возбуждало его жалостью, нежностью, страстью»...

— Это, пожалуй, острее «Лолиты»! — восторженно говорит Ия.

— Вот уж немыслимое сравнение!

— По-вашему, книга Набокова не талантлива?

— Очень талантлива, но в той же мере злокачественна. У Бунина всюду дышит его любовь к жизни. У Набокова ее нет и следа. Не пожимайте плечами! Любая мать трепещет при мысли, что дочь ее может стать жертвой преждевременной чувственности, вместо того чтобы созреть гармонически. А «Лолита» растлила, вероятно, тысячи, десятки тысяч юниц! Вот ехал я сюда к вам через пролив на пароме — две девчушки лет по тринадцати юлили подле потрепанного кинольва в шезлонге, на верхней палубе. Выламывались перед ним наперебой. И у обеих как вытатуировано на лбу под кудряшками: я — Лолита!.. Еще вспоминаю картинку — это в одном средиземноморском отеле: огромный балкон галереей, в виде буквы Г. В длинном плече — оркестр и столики, в коротком — только цветы и ковровая вдоль перил дорожка. Слежу изнутри, из окна: прогуливается пара — полудедушка с подагрическим шагом и тоже этаким лет четырнадцати прыщик с рано развитым бюстом. Когда идут мимо столиков — он опирается рукой ей на плечо, а когда заво-

рачивают где пусто — рука его ныряет за пазушку, и я из своего укрытия вижу, как топырятся пальцы, ухватывая грудь за сосок. А у нее на кукольном личике торжество: я — Лолита!..

— Ладно, оставим это! — говорит Ия. — Можно, я снова возьму себе книгу на эту ночь?

## 4

С моря дул бриз; может быть, даже больше, чем бриз — на низких грядках волн белели барашки.

Они кротко таяли, докатившись до берега, и я снова и снова думал, что кротость, вероятно, главная прелесть этого северного моря, его ласкового песчаного дна, его дремотного зеленоватого окаёма и волнистых палевых берегов.

Ия в этот перерыв заплыла непозволительно далеко. Забегая то справа, то слева от меня и вскидываясь на задние лапы, лаял ей вслед Початок.

Там, где то показывалась, то исчезала темная точка ее головы, в совершенный штиль можно было разглядеть лиловатые контуры огромного города. Сейчас застилала их белесая чуть подсиненная муть; далеко на фоне ее подпрыгивал одинокий бакен, который Ия, видимо, решила обогнуть.

Сна тревожила меня не только этим отчаянным заплывом. Я не суеверен, но — какие-то трагические касательные мерещились мне над ее головой, как в ковбойском фильме — лассо над дикой лошадкой прерий. «Вы знаете: у Ии нелады с ее парнем, очень переживает! — звонила мне сегодня чуть свет Моб. — Я ее встретила — капризна и ввалились глаза»...

Капризна Ия всегда, а худоба могла быть и от переутомления с книгой: мы работали как на стахановской вахте, перевели уж с полдюжины аллей; в издательстве, говорила мне Ия, их чуть ли не сразу отправляли в набор, и черновики ей приходилось перепечатывать вечерами. Значит, если, как злословила Моб, Карл у нее ночевал, сама она до за полночи должна была сидеть за машинкой.

Впрочем, многие заключения Моб были сомнительны, как я собираюсь сейчас рассказать.

Выползла Ия на берег, язык высуня, на четвереньках, и улеглась обочь нашей ямины, на скате, где лучше доставали ее лучи и ветер.

Разминая усталость, она разговаривает с танцующим рядом Початком.

Тело ее и чернь волос так вписываются при этом в окружную мозаику солнечных жженных красок и янтаря, что я не выдерживаю и, нарушая конвенцию, щелкаю подручной своей фотокамерой.

Она лежит сию минуту спиной ко мне и не замечает этого, как вообще не замечает меня. Может быть, оттого, что не замечает, и складывается у нее та произвольная, как у кошек, певучесть движений и контуров, от которой не хочется отрывать глаз.

Я вдруг чувствую, что кто-то, помимо меня, разглядывает ее сейчас и, оборачиваясь, вижу внизу, у берега, Пьера. Он стоит там по лодыжки в воде в необычайно пестрых трусах и делает мне знаки.

Я спускаюсь к нему, соображая, что здесь он, конечно же, в должности подосланного Моб стукача.

— Понимаю вас! — говорит он мне вместо приветствия. — Чертовски приятно на нее взглянуть! Очень, очень мила... Я сейчас — с пляжа нудистов. Там, в бабьем крыле, позирующие наяды, которых как будто только что вывалил со своих этюдов Модильяни. А эта малютка лежит и поворачивается, как повернулась бы, проснувшись, джорджонова Венера, со всем, понимаете ли, достоинством женственности, о каком мы уж и забыли мечтать. Но — как бы ей помочь не потерять всего этого?

Он рассказывает потом про одну начатую им картину, а я думаю о том, как мы совпадаем с ним в мыслях об Ие и что она, хрупкая и сильная вместе, в самом деле — из тех, кто сами в себе несут катастрофу...

Когда я возвращаюсь под зонт, она, присевши на корточки у прибора, плещет пригоршнями воду на плечи и грудь, и мне кажется, я слышу, как шипят брызги на ее раскалившейся коже.

Видела она нас с Пьером? Кажется — нет.

Поднявшись, она идет ко мне, блестя мокрой, все еще чуть посветлей остального тела грудью — такая живая иллюстрация бунинских «Темных аллей».

— Виновата, забыла, что совсем нагишом! — спохватывается она подойдя, и тут же сердится на себя за свой полуиспуг и опускается, как была, на песок, ко мне в профиль.

— Что вы смотрите так? В первый раз, что ли, видите голую женщину? — спрашивает она и, не глядя, протягивает ко мне руку, в которую я должен вложить карандаш и блокнот.

Я не хочу признаваться даже себе самому, что меня действительно выбивает из равномерного дыхания этот бронзовый блеск ее груди,



скатывающиеся с почти коричневого живота капельки, светло застревающие в блестящей смоли волос. Чтобы не сводило от этого губ, надо быть волосатым ее завсегдаем или — лучше — родиться заново.

— Вас в этом образе вижу я в первый раз! — говорю я тоже с досадой и берусь за книгу.

— Пойдите! поболтаем немного!.. Я хотела сказать: в ваших книгах довольно много эротических мест. Что это у вас — уже только в прошлом?

— Почему — в прошлом? Но прежде всего: вы, значит, мои книги читали?

— Просматривала... В здешней библиотеке есть ведь ваше почти всё. Чего не хватало — достали мне в другом месте.

— Ну, и...

— Ну, и — если вас как писателя тоже интересовали темные аллеи, почему вы не продолжаете в том же духе? Почему — мемуары? Кто их читает теперь?

— Пишущих по-русски на Западе вообще не читают. И не переводят.

— Гм... — сказала она помолчав. — Вы не могли бы убить кого-нибудь? чтобы о вас написали разом во всех газетах?

— Кого бы вы предложили?

— Меня, например. Возможны десятки сценариев: все видят, что мы вместе проводим время и конечно не думают, что в одних только литературных упражнениях. Ну, затем — я вас обманываю, выматываю у вас ваши все сбережения и появляюсь здесь же, на пляже, с другим. Подумайте: общая симпатия, обеспечено снисхождение. И известность!

— Выгляжу я таким отчаянным честолюбцем?

Она не отвечает, глядя мимо меня, в сторону пролива, куда только что плавала, — над ребром дюн, закрывающим от нас даль, кружит сейчас чайка, огромная, как Пегас.

Когда она так смотрит, Ия, ни на кого, в черноте ее глаз стоит что-то тоскливое; оно исчезает, когда она переводит их на собеседника.

— Я хочу только сказать, что у вас недурно получалась эротика. Почему вы теперь такой чистоплюй?

— Вы находите?

— Нахожу. Но, понятно, я почти ничего о вас не знаю. Вы одиноки? Я имею в виду женщину?

— И да и нет. Да — потому что у меня в квартире, здесь и за океаном, односпальная раскладушка-кровать, днем обращаемая в кресло. Нет — потому что некоторые из тех, с кем связаны самые счастливые годы прошлого, постоянно со мной.

— Не понимаю: физически, или это писательский словесный трёп? Они живы?

— Живы в моей памяти, и это так же «физически», как, скажем, моя студия на Бродвее и полки с книгами.

— Вы спирит? Вызываете духов с помощью блюдечка?

— Нет, просто они навещают мое воображение, и я часами веду с ними разговор, не нуждаясь в другом общении.

— Со мной, например!.. Они старушки теперь, ваши призраки?

— У призраков есть преимущество: они не стареют.

— В общем — чепуха! — говорит она, дрогнув плечами, и недобрая петелька складывается в уголке ее губ. — Чепуха все эти посещения и беседы а-ля «Черный монах». Если, конечно, вы здоровы психически. Но — что за смысл?

— Думаю, что здоров. А смысл — в том, что заночу всё на бумагу, в воспоминания, которые, как вы знаете, пытаюсь сейчас закончить.

— Фью!.. — свистит она примирительно, — я и забыла, что разговариваю с сочинителем. Тогда только один еще вопрос: вы всё говорите: «они». Была их целая бригада, ваших бывших подруг?

— Тут вы правы. Нужно бы говорить только об одной. Той самой, на которую вы так непонятно похожи. О ней сейчас пишу кровью души своей и в сравнении с нею других можно поместить только в сноску.

— Вы могли бы рассказать мне о ней поподробнее?

— Пожалуй. Но — не сейчас. И не здесь, когда солнце вокруг и простор. Мне трудно объяснить, но говорить о ней надо бы в четырех, поуже, стенах, может быть — в полумраке, когда не видно лица, ни твоего, ни того, кто тебя слушает. Иначе похоже все на предательство, а должно быть — как исповедь... Ну, и конечно, я должен сперва попросить у нее разрешения...

Она широко открывает глаза, но тут же и щурит их скобочкой.

— Снова трёп! Но — ладно. Я еще не получила аванс за будущую нашу книгу, поэтому можете меня пригласить в «Три короля». Сегодня я занята. Завтра! Идет?..



Вечером — телефонный разговор с Моб.

Она начала — я передаю, разумеется, только конспект — всё с того же надгробного рыдания над моими погибшими писаниями.

Потом шли расспросы. Меня чуть смущало это требование — держать ее в курсе моей «авантюры», как она выражалась, но мы были «союзники» и двигала ею такая подлинная забота и теплота, доходившая до меня даже через трубку, что я охотно мирился с этой интервенцией во внутренние свои дела и ее побочными толкачами: любопытством, нетерпимостью и суетой.

Как литератор я чувствовал и укоры совести: неожиданно для себя самого я начал присаживаться за свой письменный стол вечерами, после пляжного трудодня; засиживался далеко за полночь. В открытом окне плыла великолепная тишина полупустого сонного города — ни гудка, ни шороха шин, ни шагов; а каждые четверть часа — медная с колокольни капель, о которой уже писал и которая теперь, по ночам, стала казаться мистически вдохновительной.

И я записывал под нее впечатления за день

Дневник, конечно же, двоюродный брат мемуаров; в отличие от них у него ничтожная ретроспекция, то есть обращенность к минувшему, временная дистанция между событием и занесением его на бумагу. Дистанция, однако, растет с каждым днем — и жанры сближаются. Во всяком случае, если не книга, на которую был у меня контракт, то что-то другое складывалось и мерещилось вдалеке.

Но я не посвящал в это Моб. Я только рассказал ей об Иином интересе к моим творениям и моей личности, который Моб недавно так категорически отрицала.

— Что ж, это может быть даже хуже того, что я предполагала, — сказала она после паузы, — если она вами действительно интересуется.

— Почему хуже?

— Как «почему»? Я, помню, спросила вас как-то, что вы собираетесь с нею делать? Теперь возникает вопрос потрудней: что собирается делать с вами она?

— Вы считаете, что я способен быть таким ручным кроликом?

— Миленький, нет! я знаю, что вы не такая размазня, как мой братец. Но есть ведь сила и на ее стороне. Мне рассказывали, как она выглядит там, на вашем рабочем месте, во время перерыва... «Сексу» у нее в избытке и без вас, но — чем чёрт не шутит! Во всяком случае поосторожнее завтра в этом притоне — там, знаете, и драки случаются, и облавы. Будьте начеку!..

## 5

И в притоне трех бродяг  
Стало тихо в тот же час...

В притоне «Трех королей» тихо не было, и я вспоминал эти первые строчки позабытого шлягера, дожидаясь Ию у входа, откуда на набережную вылетал гам голосов и рев автоматической шарманки, и — когда мы отыскивали наконец столик в тесной, на двоих, нишке.

Вспоминал отчасти и совет «быть начеку», разглядывая потемки вокруг, — разноцветные площадки на столах их едва разжижали, виден был только кусок получше освещенной стойки.

Благодаря такой бдительности, засек один небольшой эпизод, которого в другое время, может быть, и не заметил: мне показалась знакомой одна спина из сидящих у стойки на высоких круглых подзадниках, — широкоплечая, в ломах большой головы. Взглянув немного спустя еще раз, увидел, что и голова эта, и тулово повернуты в нашу сторону, и из густой рыжей заросли сверлит нас пара глаз.

Уставилась им навстречу и Ия: в желтых всплесках нашей настольной плошки гневно резалась морщинка между ее сведенными бровями.

Эта дуэль глаз длилась, казалось мне, целую вечность.

Потом Ия окликнула знакомую, вероятно, подавальщицу с черным пупком на голом животе и, написав что-то на бумажной салфетке, послала ее почтарем.

— Это Карл, мой теперешний друг... — сказала Ия, не глядя на меня и с непривычной для нее толикой смущения. — Я приказала ему исчезнуть!

Мы заказали то самое, что подавали нам здесь в первый раз, — балканскую снедь с красным перцем.

Тожe и в этот вечер дым тонких сигарет, которые принесли Ие, отдавал чем-то терпким; я не мог определить, чем, и раза два кряду мельком заглядывал в ее зрачки. «Хотите, — спросила она, тотчас это заметив, — я подбавлю вам кое-чего в трубку? Попробовать...»

— Я признаю только один вид наркотиков: скотч.

— Ладно, тогда и я. Закажите и мне! — попросила она, сломав сигарету в пепельнице.

В счете, который подали нам часа четыре спустя, было восемь скотских напитков. Упомяну об этом, чтобы пояснить стиль нашего застолья: оно впервые, кажется, было непринужденно, разговор тек крылато, без силков, которые мы обычно расставляли друг другу, и недоверчивости; впервые тоже многие зачины и темы принадлежали Ие, не мне, равно и вопросы и длинные реплики.

Оказывается, в этой стране она чувствовала себя чужой, и это было у нее — как травма. «Вы знаете: очень славный народ, но никогда, никогда не признаёт пришельца своим. Всё идет хорошо до поры до времени: отношения, дружба, и вдруг при самой невинной критике: «Ты — иностранка, это не твоя родина, тебе нас трудно судить!» А где она, моя родина? Я здесь выросла, привыкла. Иногда станет так тяжело, что сесть бы в любой самолет, в любую сторону...»

— Ну а здешние русские?

— Их, с которыми можно водиться, по пальцам считая, в нашем городе семь три. Я с ними редко. Бывает, устраивают сходки, доклады, но скука смертная. И непременно — бранятся! Кстати, вот был последний спор, и я давно хотела у вас спросить, но забывала всё: «Построен ли в Советском Союзе социализм?» Вы знаете: у нас здесь социалистическое правительство, так — сравнивают... Что думаете вы? И почему вдруг заулыбались? Я хочу совершенно серьезно.

— Это я — воспоминаниям. Перед войной, помню, прежирные лозунги о построенном социализме висели у нас везде. И вот присплет к нам из подмосковного одного колхоза знакомая старушка. Вся исплаканная: запретило ей местное начальство держать козу-кормилицу, чтобы

не истребляла колхозных кормов. Мы тогда и припечатали: «С подлинным верно — социализм, который козы боится!» Я это, Ия, к тому, что иногда хорошо отказаться от всяких отвлеченностей и расчетов, а взять простейший живой пример — и всё станет на место.

— Может быть, и так... — сказала она раздумчиво. — Живых примеров мне как раз не хватает. Я много читала, но вот, например, этот воздух там, в Советах, до последней войны... Не террор, это я представляю, но общая ему покорность. Как могло это быть? Неужели здешние туземцы правы, что русские по крови рабы? Ничтожная кучка людей держит в оцепенении весь народ, как удав кролика! Ни бунта, ни протеста. Мне кажется, живи я там — я бы ни за что не смогла молчать. Нет! Ценою, может быть, жизни, свободы, но — лучше смерть! Ладно, оставим отвлечения, как вы говорите, но — на примерах. Скажем — вы! Были вы также лишены мужества? Как дышали этим воздухом вы?

— Мужество — отвлеченность тоже. Есть гражданское мужество, есть мужество революционера, патриота, солдата. Все эти мужества у русских людей съел страх. Сознаюсь: я, вероятно, не способен на подвиг. Для каждого подвига нужно внутреннее его оправдание, цель... Ее не было. Я не думаю, что родился трусом. А вот когда приехал в эту войну на фронт — мысль умереть за Сталина убивала всякий намек на отвагу, всякое желание подвига. Само выполнение долга казалось опозоренным именем этого злодея...

Вы говорите: не покорились бы, лучше смерть. Как вы себе представляете эту смерть? Героические времена эшафота кончились. Даже на виселице можно было еще умереть гордой смертью.



Но — не в застенках чека! Там не просто лишали жизни; там коверкали ваше тело и волю, заставляли оболгать друзей, близких, превращали в слякоть, дрожащую и безвольную — и тогда жертвовали девять граммов свинца в затылок и закапывали в какой-нибудь подлой яме, как падаль...

— Ужасно! Кажется, я неправа...

— Нет, правы, и это еще ужасней ужасного. Я хочу сказать, что отказываясь от подвига, чтобы выжить, мы истлевали духом. Тоска по подвигу — живая вода хотя бы малого искупления. Но мы молчали, когда надо было крикнуть палачам «нет!», голосовали за казни невинных, предавали друзей, то есть, значит, предавали самих себя — самый страшный вид предательства. Незадолго до войны у меня отняли и погубили самое дорогое, чем обладал, что боготворил, и я, презирая и ненавидя убийц, продолжал садиться с ними за общий стол.

— Но, послушайте: когда наступила оттепель, появились же всё-таки смелые?

— Одиночки!.. Которым, кажется, нет и не может быть пока продолжателей. Есть у Мережковского строчки, словно бы прямо к этому слушаю:

Дерзновенны наши речи,  
Но на смерть осуждены  
Слишком ранние предтечи  
Слишком медленной весны...

Потемки вокруг нас, вместе со столиками, площадками и шевелюрами, будто взбивал кто-то гигантской мешалкой. Потемки плясали!

Ия молчала, машинально вторя их ритму беззвучными щелчками маленьких пальцев. Потом выхлебнула крутыми глотками свой стакан и заказала другой.

— Хочу больше знать о вас лично, — начала она. — Вы обещали рассказать мне об этой вашей подруге, которая будто бы была на меня похожа. Как ее звали?

— По паспорту — Ия, как и вас.

— Быть не может!

— Представьте. Удивительных совпадений на свете гораздо больше, чем мы можем предположить. Но, повторяю, это только по паспорту, по крещению. В быту ее звали Юта.

— Никогда не слыхала такого имени. Она была русская?

— Да, по отцу. Мать у нее — грузинская княжна.

— Скажите, она... это ее, говорили вы, у вас отняли?

— Это ее.

— И она умерла?

— Не знаю.

— Вы же сказали: погибла.

— Погибла для себя, для меня, для всех — судьбой, душой, прелестью, но, может быть, еще и жива. Ее арестовали месяц спустя после ареста родителей и сослали.

— Вы не узнали, куда?

— Узнал. И название лагеря — в самой дикой сибирской глуши, и приговор: десять лет, без переписки. Собрался к ней ехать, но началась война.

— И так больше ничего про нее не знаете?

— Увы, знаю больше. Вот только сумею ли рассказать...

— Если вам неохота...

— Не неохота, а просто — в первый раз. Здесь, видите ли, тоже одно из самых невероятных совпадений. В плену, в лагере, где я два года сидел, встретился мне один ветеринарный фельдшер, с каким-то даже военным званием, но совсем не воинственный — невзрачный такой пожилой человек с тихим голосом и нежной душой, вроде Касьяна с Красивой Мечи, если помните Тургенева. Звали его Кузьмич. Помогал мне подсчитывать покойников для рапорта в лагерное управление. А я писал ему по-немецки прошения о переводе в какую-то кавалерийскую часть, по специальности... И когда писал, с разными анкетными сведениями, оказалось, что был он в том самом лагере, где Юта, работал в санчасти вольнонаемным, после срока, который получил, кажется, за приверженность к церкви. С началом войны послали его на фронт. Так вот, этот Кузьмич... Тут начинается самое страшное.

— То, что он вам рассказал?

— То, что рассказал. В их лагере было два женских барака. И дикий в этой связи произвол, настоящий торг рабынями, более бесправными, чем когда-то черные, потому что работоторговцы — сама предерживающая власть. Когда случался новый этап, обязательно отбирались кто по красивей и посвежей и происходил дележ. Раздевали, конечно, для якобы обыска, либо гнали голыми в баню сквозь строй глаз, или — под предлогом санитарной проверки. С Ютой случилось последнее — ее вместе с одной манекенщицей из ГУМа, дружившей с каким-то иностранцем, отвели в санчасть. Приглянулись обе, оказывается, не более не менее как самому начальнику лагеря, и он решил выбрать... Там объявили им, что подозре-

вают у них «микроспорию» — никогда раньше не слышал о такой болезни: вроде стригущего лишая, на волосяных, главным образом, покровах — объяснил мне Кузьмич. Потом... У меня весь рассказ его в памяти врезан, как клинопись, ни слова не могу изменить. Потом, говорит он, «велят им раздеться, и вот, говорит, взялись мы их обглядывать, я и лагерный врач, тоже из эсков, оба в белых халатах, а начальство, главный хозяин, тут же в дверях, руки за спину... Манекенщица — та вроде с врачом и ничего, только щекотки боится, а мне — Юта прищлась. Елозию вокруг ее на коленках и твержу сам себе: «Что ж ты, коновал, знаешь ведь сам, что она вся — как яблочко, без единой червоточинки! Что ж ты представляешься, шаришь ее своими погаными лапами, волосики продуваешь?» А она — ну, скажи, как козочка под ножом, вся трясется, дрожмя дрожит с головы до ног. Глянул я вверх — губы белые, нижняя губка насмерть зубами закушена, и капелька кровяная повисла, вот-вот скапнет... И тут, поверите ли, я — как вдруг заплачу! Подкатило вдруг к горлу, ни выдохнуть, ни сглотнуть, слеза глаза застит... Прижал руками лицо, чтобы не завывать, удержаться, поднялся. Спасибо, аккурат тут врач со своей кончил и про обеих полным голосом самому доложил. Приказал «сам» проверить их еще по венерическим и Юту — к нему — отдельный дом у него, пять комнат — уборщицей. И сифилисом ее заразил — был в самой что ни на есть скверной стадии, препараты вкатывали в него, как в прорву... А она была целочка»...

Я рад был какофонии визгов и топота, заполнившей паузу, когда кончил, и тому, что Ия молчала, не задавая вопросов.

В пляшущих потемках мелькнул голый живот нашей официантки, и я сделал ей знак принести еще виски.

— Допейте лучше моё, — пододвинула мне Ия стакан, — потому что мне пора уже уходить.

Были очень хороши в этом городке июльские ночи — голубоватые, с воздухом, отдававшим чуть рыбой и водорослями, соленым на вкус...

Мы миновали музейный квартал, вымощенный средневековым булыжником, теперь шли по набережной. Здесь небесную прозелень резали словно тушью вычерченные шеи подъемных кранов; качкие огни бакенов строем, постепенно сужаясь, убегали в чернь бухты.

Мы остановились на них поглядеть.

— Это кошмарный сон, ваша история! — сказала Ия. — Этот плачущий ветеринар. Что с ним стало?

— Умер от дистрофии. Перед смертью рассказывал про Юту еще и еще, всё в тех же самых словах, будто казнил сам себя. «Как козочка под ножом! Как козочка»... — выговорит и плачет. Было невыносимо!

— Скажите, вы никак не могли предупредить это несчастье? Там, в Москве? Помочь как-нибудь?

— Может быть, и мог. Но — не помог!

— Как это?

— Чтобы предупредить ее арест, было, может быть, достаточно, чтобы я на ней женился.

— Ну, и?..

— Ну, и я не женился, потому что был уже женат.

Она широко раскрыла глаза, пытаюсь разглядеть мое лицо, и тут же заторопилась:

— Пошли, мне надо скорее домой. Потом задам вам кучу вопросов. Хочу знать подробно, как было всё прежде, до самого трагического. Непременно!

— У меня эта история записана в мемуарах. Две целых главы. Если хотите — могу принести. Мне это удобнее, чем рассказывать.

— Да, да, очень хочу! — она всё ускоряла шаги, не скрывая какой-то одолевшей ее тревоги. Мы почти добежали до дома, где она жила и куда я ее как-то раз отвозил.

— Так принесите завтра две ваши главы! — повторила она, кивнув мне.

В окнах ее комнаты горел свет.

## 6

Наутро она опоздала на целый час и, торопко стянув с себя джинсы и свитер, попросила меня приготовить чай и бутерброды — с таким видом, словно в том, что она не успела дома поесть, был виноват я. Насытившись, достала блокнот с целю кипой вкладок и стала искать место, где накануне остановились.

Она долго не снимала, как обычно, верхней своей поперечины, хотя солнце палило уже на совесть; потом всё-таки, чуть поколебавшись, как я отметил, стащила и кинула ее на песок, — и тогда на левой ее груди я увидел багровый, как цвет татарника, кровоподтек.

— Карл... — выдохнула она сквозь зубы, перехватив мой взгляд. — Этот дурень, представьте, вообразил, что... В общем, я его выгнала. Но —

давайте, давайте работать! и будем сегодня, пожалуйста, без перерыва, ладно? Чтобы нагнать!

Весь этот день она огрызалась на меня, как хорек.

Мы переводили один из лучших в бунинской книге рассказ — «Чистый понедельник», начатый нами еще вчера. Рассказчик влюблен в юную московскую красавицу, облик которой выписан поистине говорящими красками, какими, кажется, только один Бунин и обладал. Эта «царь-девица», полугетера-полураскольница, девственной своей неприступностью чуть не сводит героя с ума; потом, в вечер чистого понедельника, вдруг отдается ему и через ночь — исчезает. Он узнает позже, что она ушла в монастырь.

«На кирпично-красавых стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок; куранты тонко и грустно играли на колокольне... Солнце только что село, еще совсем было светло, дивно рисовались на золотой эмали заката серым кораллом сучья в инее, и таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами».

Великолепный этот пейзаж вызвал целую бурю: когда застрял на нем у нас перевод из-за поисков слов, Ия потребовала его выкинуть. «Кому нужны в наше время пейзажи? Этот русский, барский девятнадцатый век! Декорации, блёф, герани на подоконниках в комнате самоубийцы! Никто этого пропуска и не заметит!»

Встретив отпор, она долго сидит с гадкой полуусмешкой. Черные, даже немного зловещие своей чернотой, как сказал бы Бунин, пряди волос, свисая со лба, закрывают от меня ее лицо, а на

некоторые вопросы она просто не удостоивает ответить.

И когда кончили с пейзажем:

— Не понимаю, к чему вы выбрали этот рассказ! Какая старомодная облысевшая романтика! Культы, культы... Культ любви, которая будто бы «сильна, как смерть», а не просто зов тела. Культ обладания! Культ девственности — московская эта весталка, которая не сберегла ее и спряталась в монастырь. Экая чепуха и пещерность! И что видят романтики вроде вас в физиологической невинности, чего не было бы у женщины, сделавшей полдюжины аборт?

— Не знаю, с чего и начать. Скажем — о девственности, то есть я имею в виду юниц. Эти юницы, если не искажены ничем, всегда прекрасны. В них не успевает еще расцвести красота, но есть подтекст, ожидание, неизведанное, и нагота их — лучший этюд чудотворицы-природы... Теперь — о любви: «Сильна, как смерть» — заглавие не только мопассановского романа, но множества живых! Зов тела становится зовом души. «Встретили меня стражи, обходящие город: «Не видали ли вы того, кого любит душа моя?» Знаете ли вы, сколько тысячелетий назад написаны эти строчки? Молитвы тела оказываются молитвами духа, и вы, конечно, помните, сколько великих творческих свершений, которыми гордится человечество, были вдохновлены этими молитвами, сладким благовестом любви и горьким — смерти, которой всегда на крайних взлетах своих касается любовь... Я выражаюсь барочно, но на то и романтик — как угодно вам меня величать. Ромео и Джульетта, Манон Леско, Анна Каренина и роستانовский Сирано де Бержерак... тема всех этих образов — тема любви и смерти, именно в



таком соседстве любовь излучает свет... Акт обладания! Да, он возносился романтиками к сказочному замку Тамары. Чертог Клеопатры, в котором она продавала ночи своей любви, был именно «чертог» и «сиял»! Даже у любимого вами Маяковского с его похабным «Мария, дай!» торжество любви совершалось не в подворотне. Почему же ваши современники, которых, по вашим словам, вы представляете, перенесли это торжество в нужник? Из таинства сделали физическое отправление, которое преподносят как зрелище на киноэкранах и в жизни? Физические отправления обычно совершаются скрыто от посторонних глаз, и даже кошки, одни из самых чистоплотных животных, не испражняются и не совокупаются на виду у всех...

— Чёрт возьми, вы красноречивы! — сказала она и потянулась ко мне с сигаретой во рту прикурить. — И вижу в первый раз, что вы будто сердитесь. Почему? Уж не доступность ли «таинства», по вашей потешной терминологии, вам так досаждают? Мол, нынешним всё можно, а я, увы, опоздал!.. Ну, ладно: вы, трубадуры отжившего поколения, любили разных своих Беатриче в чертогах и ползали перед ними на четвереньках. Позвольте же теперь волосатым, как вы их называете, любить нас, как и где мы хотим!

— Со швыряньем на землю а-ля некий модерный Пан и с использованием добавочных, предназначенных для других отправлений скважин?

— Bravo! Bravo! — захлопала она в ладоши. — Почти наш язык! Вы несомненно растете! Да, пусть со швыряньем, если мы так хотим.

— А для не-Панов, склонных к коленопреклонениям и без волосатости — ничего? крохи со стола?

— Может быть.

— Как Початку?

— Не пускайтесь в двусмысленности, говорите прямее! Если в эти свои намеки помещаете вы самого себя, то — да, может быть, когда-нибудь я и пустила бы вас под самый краешек своего одеяла. Но вы-то, поскольку вас знаю, не захотите «крох со стола!..»

. . . . .

Бесенок утих в ней только к концу дня, когда мы, в самом деле почти не переводя дыхания, закончили с «Чистым понедельником».

Тут она даже вспомнила про мои мемуары.

— Я не расспрашиваю вас насчет вчерашнего, что рассказали, но вы принесли, надеюсь, обещанное?

— Да, одну только главу. Пустяки, но передает воздух, которым мы когда-то дышали. Ко второй мне захотелось кое-что добавить, принесу завтра.

— Непременно! — сказала она, влезая в свой красный фольксваген.

Я привожу эту главу ниже.

## «ПОКА»

*Эта серо-черная девятиэтажная туша  
была линкор, и восемнадцать пилестров  
как восемнадцать орудийных башен вы-  
сились по правому ее борту...*

*А. Солженицын, «В круге первом»*

## 1

Конечно, я вздрогнул: как вздрогнули бы и вы, если бы кто-то, вдруг подошедший сзади, положил руку на ваше плечо. Добавьте к этому полночь, скупые московские фонари, и вы с вашей подругой, торопясь и толкая друг друга локтями, разглядываете на щите объявлений неясный в полупотемках переполох афиш.

Я вздрогнул и обернулся, и тогда стоявший за мной коротышка в полувоенной форме, которому надо было, вероятно, подняться на цыпочки, чтобы дотянуться до моего плеча, снял свою руку и сказал тенором, поскрипывающим на ударных гласных:

— Пройдемте со мной, гражданин!..

. . . . .

Многоточие обозначает здесь короткую паузу, в которую прошуршали в моем воображении шины «черного ворона» — кошмара тогдашних московских ночей, в которую Юта, моя спутница, успела спросить испуганно: «В чем дело?»; в которую я пытался разглядеть блеснувшее на меня

очками лицо и, не разглядевши, послушно повернулся за ним.

Да, теперь, много лет спустя, я с недоумением и досадой решаю этот кроссворд своей прошлой жизни из пересекающихся «почему?» и «как это могло быть?», припоминаю и это, сейчас непонятное, — что так сразу подчинился идти и, только уже шагнув, спросил в свою очередь:

— В чем же все-таки дело?

Не оборачиваясь, он сказал:

— Вы срывали со стенда плакат с портретом товарища Сталина. И уничтожили бы, если б я не помешал...

. . . . .

Эта вторая пауза была еще короче. Помню почти беззвучное «ох!» Юты и ее руки, обхватившие мою чуть выше локтя, так что я почти протащил ее за собою несколько шагов.

— Вы что, галлюцинируете по ночам? Я не дотрагивался ни до какого плаката!!

Он молчал, и мы продолжали идти к Кудринской площади, где, я знал, помещалось отделение милиции; в широкую и мутную тишину Садовой сыпались шорохи четырех подошв и щелк Ютиных — на босу ногу — лодочек, которые далеко отлипали от ее пяток на каждом шагу и особенно вызывающе и невпопад цокали теперь об асфальт.

Коромысло возмущения и тревоги качалось во мне, и — едва представимый контраст того, что было всего минут двадцать назад, и того, что, может быть, ждало теперь впереди...

Двадцать минут назад была идиллия московского дворика у Девичьего поля, с уже лопнувшими почками сиреневых кустов и сквозь них

звездным небом; открытое в этот дворик окно в закуте, где жила Юта, выгороженном фанерною перегородкой в комнате ее родителей, и мы подле окна за бутылкой кахетинского, которое покупалось для меня, и шепелявой музыкой самодельного приемника. Затем — телефонный звонок в коридоре, на который Юта спешила всегда сама, обслуживая еще полдюжины живших в квартире семейств, — и после нескольких удивленных: «Да что вы! Быть не может!» — ее взволнованное мне: «Знаете: у Дома архитектора, на стене объявлений, это где-то на Новинском бульваре, — анонс о выступлении нашей балетной группы. И говорят, что я там, моя фамилия. Я должна увидеть сама, пожалуйста! мне очень хочется!»

Если у вас никогда не было любимой, собирающейся стать балериной, вы не знаете, какое место, пусть даже в самой прекрасной душе, может занимать тщеславие!.. Мы сорвались тут же, в чем были, — туфли на босу ногу, и я без галстука и позабыв папиросы... И вот: асфальтовый разлив ночной Садовой, и — цок-цок-цок — Ютины каблучки, и, кажется, она сейчас чуть не плачет...

А коротышка всё еще не достаивает ответом.

— Я вам задал вопрос! — говорю ему в затылок.

— Вы дадите свои объяснения, где полагается!

\*\*  
\*

Давать объяснения не пришлось.

В полутемной приемной милицейского участка, куда мы вошли втроем, дремал на скамье дне-

вальный милиционер, поднявшийся нам навстречу.

Остальное вспоминается мне теперь как кинофильмовый стремительный репортаж: заспанное лицо дежурного за перегородкой в окошке, потом там же только одни его освещенные сбоку руки, холопски, как мне показалось, державшие удостоверение коротышки; потом — те же руки, схватившие химический карандаш, и коротышкин поскрипывающий голос: «Задержанный мною у доски объявлений Дома архитектора гражданин с остервенением срывал с нее портрет товарища Сталина»... Потом — перекрывающий наши с Ютой протесты начальственный оклик: «Помолчите покудова, граждане!» — и кивок дневальному на меня: «Отведешь в номер первый!»

Он был очень юн, этот перенявший меня дневальный, и плесняв, как сказала бы Юта про его веснушки, если бы могла что-нибудь разглядеть.

Но она шла за ним, изо всех сил сдерживая слезы, а перед дверью, за которой мне надлежало исчезнуть, в отчаянии обхватила меня за плечи: «Что делать? Скажите же, что?..» — спрашивала она, и я беспомощно снимал с плеч и целовал ее руки.

— Вот если бы вы могли принести мне сюда папирос! — сказал я, и она умоляюще вскинула на милицейского паренька мокрые ресницы.

\*\*  
\*

«Номер первый» была вытрезвиловка, с оплетенной проволокой электрической грушей и двумя топчанами по стенам. С одного летел задышливый храп. Пахло сивушным дыхом и блевотиной.

«Папирос! Папирос!..» Как это часто случается в минуты потерянности, всё во мне заплелось вокруг двух-трех вожделенных затяжек, способных всколыхнуть волю, погнать мысли на какую-нибудь спасительную стезю.

А сейчас они, мысли, бежали по полутемной Садовой, за Ютой вслед, за чечёткой ее каблучков, заглядывая в ее все еще, верно, плачущие глаза.

Позволят ей передать папиросы? По веснушкам, за дверью, только что, ползало, кажется, что-то вроде сочувствия; даже, пожалуй, и изумление с полуоткрытым ртом. Немудрено, в общем-то, потому что этот раствор ее глаз, темный и теплый под взмахом щедрых ресниц, на кого уставлялся — всегда производил впечатление.

Сам я влетел в этот раствор, как в силоч, осенью минувшего года.

Это была одна тогда еще не прихлопнутая пивная с воблой, моченым горохом и эстрадой полуцыганского пенья и танцев. Юта отплясывала там нечто весьма эксцентрическое с острым названием «Trés moutarde» (по-русски получается «очень горчица»; прыщавый объявитель произносил: «трамутар»).

Я смотрел — и не верил глазам: как попал сюда этот маленький самородок? Меня особенно пленили взлеты ее рук и ресниц, когда в нескольких музыкальных пиано-паузах она, вытягиваясь в струнку и сбочив голову, выписывала пуантовым петитом полукруг, расплескивая раствор своих глаз на нас с нашими нечистыми столиками, как приворотное зелье. Конечно же, она была понастоящему и не для пивных подмостков талантлива.

Всё это, уже перед закрытием, я и изложил ей, пройдя за кулисы, точнее — в темный, пахнущий пудрой и нужником коридорчик, где она одевалась.

Удалось это мне не сразу — «сразу» я запнулся на слове, встретив ее испуганно-недоверчивый взгляд и еще один, откровенно колючий — старой цыганки-певицы, поднявшейся за ее спиной в воинственной позе телохранительницы. Я понял, что к этой, всего семнадцатилетней, как оказалось, плясунье, совсем не вызревшей еще в духе исполняемого «трамутар», являлось немало ценителей искусства, чайвших от нее приятностей уже в другом вкусе.

В общем, выслушала она меня только после того, как пообещал рассказать о ней знакомой балерине, которую она обожала.

— Могу я отвезти вас домой? — спросил я.

— За мной всегда приходит папа, и мы идем пешком, потому что ему полезно гулять. Но если хотите, мы можем вместе...

Папа явился тут же, и тут же случилось одно из частых в моей судьбе больших и мелких, но всегда удивительных совпадений: мы оказались с ним, хоть и седьмой воды на киселе, но все же родственниками, и Юта — так ее звали — мне, тоже на воде и киселе, кузиной.

Вскоре через упомянутую выше балерину удалось устроить ее в один хореографический класс, где даже назначили ей стипендию.

А сам я торчал у них на Девичьем поле все вечера, когда были мы оба свободны, и, бросив думать о том, что был старше ее на двенадцать лет, дожидался вместе с ней ее восемнадцати и своего развода с женой.



А теперь вот ждал ее с куревом, стоя у липкого топчана, на который не решался сесть, слушающая мерзкий напротив храп и одолевая подступавшую к горлу тошноту.

Милицейский парень отобрал у меня часы, и, значит, я не мог в своем ожидании справляться со временем. Его, казалось, то будто прошло до отчаяния много, хватило б обогнуть всё Садовое кольцо, то вроде бы совсем ничего, едва добратся Юте до дома.

Закрывая глаза, чтобы не видеть храпящего падла, я представлял себе: вот она вышла уже со двора в переулок, захлопнув за собой тяжелую с медной серьгой калитку — пережиток феодальной Москвы. Отец, конечно же, собрался вместе, но она умолила пустить ее одну, потому, что должна быстро идти. В пижамном кармашке у нее начатая пачка Беломорканала. Много ли там осталось? Осталось ли?..

Цок-цок-цок... вот она уже на Zubовском. Вместе с ней я минуя кварталы, отсчитывая, как секунды по стрелке, шаги. Нет, шаги, конечно, короче, потому что она, наверно, сейчас бежит... Цок-цок-цок... Какая огромная асфальтовая лужа — бывший Смоленский в перемежку потемок и яичных фонарных клякс! Тоже и дальше, к Новинскому течет этот каньон, притыканный фонарями на месте когда-то деревьев. Цок-цок-цок... Мимо дома, где всё случилось!..

Она не останавливается около, Юта, но я мысленно задерживаюсь и даже припадаю к наклепленной на стенде пестряди афиш. Было там различимо, помню: «ВЕЧЕР БА»... — да, только БА... — начало слова, перекрытого сверху вниз плотным бумажным полотнищем, а поперек — цветным первомайским плакатом. За этими верш-

ковыми БА... могло, конечно, следовать Л, а потом Е и Т и А, то есть Ютино вождеденное, за чем сюда топали, — и я с налету тоже горел нетерпением раскрыть залепленную справа надежду и — стоп!

На этом «стопе» тогдашнего моего воображения мурашки бульдозером проскребли по моей спине, — я даже опустился на мерзкий топчан, которым брезгал минуту назад. Мурашки затем, полегчав, скатились с предплечья в пясть правой руки, собравшись под указательный ноготь на манер аккумуляторного готового сорваться заряда. Да, этим самым ногтем я поддел белую кромку рядом с БА., и она под ним расползлась, — нет, как теперь мне казалось, лопнула с треском, взорвалась, как ракета, хвостатый какой-нибудь фейерверк. «Задержанный мною гражданин с остервенением срывает портрет товарища Сталина». Был он там, этот портрет, или нет? Если был — значит была в этой проклятой лжи какая-то ничтожная, тоже проклятая правда! Сколькими годами рискую я за нее заплатить? Десятью? Пятнадцатью? Может быть — жизнью?..

Позже уже, заметив над деревянным щитом, которым забрано было окно, сизый сгусток расцвета, я понял, что просидел в этом оцепенении страха несколько часов.

А когда безнадежность ожидания Юты перелестывала уже в отчаяние, — щелкнул в двери запор и, просунувшись ко мне, веснучатый дневальный поманил меня пальцем.

— Начальник разрешил вам находиться в приемной. И Юте тоже. Покуда сменимся в восемь ноль ноль утра. Тогда отведу вас к районному уполномоченному, — объявил он, и за горизон-

том его веснушек взошли на участковое небо два сияющих Ютиных глаза.

Еще через минуту я сидел на скамье против начальнического окошка в сладком блаженстве осуществленных затяжек, которого ни в сказке сказать, ни пером описать, весь в табачном шевелящемся мареве, и слушал сквозь это блаженство теплый прерывистый полусшепот у самого уха:

— Слава Богу, мы спасены! Как все переполошились у нас, и я больше всех! Но опасность уже позади. Ким говорит, что на сто процентов. Он всё устроил. Кто он? Ким? Юноша этот в веснушках, милиционер, который вас отводил. Ким — это его имя. И он сбегал туда, к стенду, обследовать. Представьте: да, был плакат с портретом, но портрет совершенно цел. Надорван только кант белый и совсем чуточку фон. И Ким написал рапорт, а здешний дежурный — я говорила с ним — поставил свою резолюцию. Иначе мог бы быть такой ужас — оба они говорят, вы представляете? Я уже позвонила своим... Ким прямо герой. Сейчас он делает копию для себя — там, видите?

Юноша действительно сидел в дальнем углу приемной, навалившись на край стола над бумажными четвертушками; в его профиле под настольной лампой, как я сейчас разглядел, было странное сочетание славянских скул с античным скатом лба к переносью.

— Он очень славный, — повторила Юта и, переходя на тишайший шепот: — этот маленький внуч, который нас задержал, говорят, очень важный чекист. Поэтому отпустить вас сразу отсюда не могут, но только — из районного НКВД. Ким отведет. Мне туда нельзя, но он уверен, что будет только формальность, а если нет — тотчас же мне позвонит... Да, всё, всё поправилось!

Я сам тоже чувствовал себя спасшимся от землетрясения, отправив Юту домой и покуда собрались к уполномоченному.

Но по дороге начался ливень, который с милицейского плаща-палатки скатывался вприпрыжку, а в меня вонзался гвоздем...

Из окна передней, где ждали мы два часа, виден был промокший кусок первомайского плаката с вислыми буквами, складывающими слово «бдительно»; о бдительности же, то есть о подвигах охотников за черепами, вполголоса рассказывал мне разболтавшийся Ким — я с удивлением узнал, что в одном только их районе осквернителей лика «великого корифея» схвачено было до полдюжины, — словом, стало мне снова весьма тоскливо.

Потом усатый канцелярист в милицейской форме пригласил за одну из анонимных дверей Кима, а через полчаса и меня.

Мне полегчало немного при взгляде на сидящего за столом: барский этакий облик, и в поставе головы, в розоватых холеных щеках под седыми висками — некий очень памятный мне плюсквамперфектум: видно, старый военный, и даже пахло от него дореволюционным шипром.

— Так... — начал он, оглядев в чуть насмешливый прищур мой расхлестанный ворот и просыхающий оазисами пиджак. — Вы подшофе, что ли были, этой ночью, когда задержали вас?

Вот и это его гвардейское «подшофе» шло из далекого прошлого.

— Нет, почему... Был совершенно трезв.

— Ну, знаете, совершенно трезвые видят, за что хватаются. Вы что, не заметили рядом портрета?

— Честное слово, нет!

— Гм... — помолчал он. — Этот парень в веснушках показывает в вашу пользу. Можете поставить за него свечку, потому что камуфлет получился для вас угрожающий. Попробую вас отпустить, но сперва все-таки напишите подробное всему объяснение.

Канцелярист в смежной комнате вручил мне мои часы, бумажник и целую стопку гадкой бумаги, за которую цеплялось перо.

Станным образом провозился я больше часу, с дюжину перепортив листов и безрассудно, как потом оказалось, доконав принесенную Ютой пачку.

Мысль о Юте, кстати сказать, отчасти мне и мешала: должен ли ее упомянуть? нужно ли сию вот минуту ей позвонить и можно ли звонить по личному делу из такого, где нахожусь, учреждения...

Наконец, помню, сделал последний росчерк, и запело во мне этакое восторженное кукареку и замахало крыльями: свободен! свободен!..

Так и сбегал по лестнице с крыльями за спиной.

А на последней ступеньке догнал усатый канцелярист и потребовал к уполномоченному обратно.

Он оказался теперь в военной форме, этот уполномоченный, с земляничного ворса петлицами на воротнике, и в глазах — ух, сердце во мне упало! — с какой-то тревожной поспешностью.

— Вышел некий конфуз! — сказал он. — Товарищ, который задержал вас вчера, позвонил в наше Управление — узнать, как поступили в отношении вас. Оттуда запросили меня. В общем,

очень удачно, что далеко не ушли. Сейчас проедем вместе. Вашего свидетеля захвачу с собой.

«Свидетель» молча сидел всю дорогу на самом краю пружин, уважительно уставившись перед собою на барскую шею под земляничным околышем и желтые поскрипывающие ремни: от значительности момента у него даже посерели веснушки. Может быть, он робел.

Меня же без всякого «может быть» гвоздил страх и заполняла горечь, когда из окна «эмки» — вплотную к тротуару мимо первопечатника Ивана Федорова — видел снующие ноги прохожих, вольные топтать, куда глаза глядят, и думал о полоненных своих.

Центростремительная сила сыска и бдительности, я знал, влекла нас в лубянскую многоэтажную двойчатку, которую ненавидели москвичи лютее, чем когда-то парижане Бастилию.

Мне было хорошо знакомо место, где выбухли позднейшие девять этажей: там, на углу Большой Лубянки и Фуркасовского, некогда стояла моя гимназия. В этом же углу, на стене, обносившей гимназический двор, белела памятная доска с надписью: «Здесь был дом освободителя Москвы от поляков в 1612 году князя Димитрия Михайловича Пожарского».

В последние годы, проходя иной раз мимо, я мечтательно фантазировал об исторической неизбежности, которая когда-нибудь взорвет и этот оплот насилия, и новая мемориальная доска станет оповещать об очередном освобождении.

Знал я тоже и старое здание двойчатки, с часами, принадлежавшее страховому обществу «Россия». Туда, с началом первой мировой войны, перевели из Польши женскую гимназию Шписс, а году в 18-м «размешали» ее с нашей, и мы хо-

дили чуть не каждый вечер «под часы» — танцевать с гимназистками, очаровательно непохожими на наших московских... Но — прошу простить мне это лирическое отступление.

## 3

Я уже не помню теперь подробностей, куда и как въехали и прошли, но только небольшую комнату, почти пустую (два стула и стол), где я присел дотемна.

Меня в ней не закрыли; стерегли, нет ли — не знаю, но учитывали: пришел раз солдат показать мне уборную. «Там есть и кран — напиться», — сказал он и — на мой полувопрос-полупросьбу: «К сожалению, не курю».

От всего этого, помню, мучительно грызла меня боль под ложечкой, выгрызая последки мужества; ощущал я себя «бездны на краю», заглянуть в которую мне было страшно; в самом деле: сколько же может человек так вот — ни за что, ни про что — ждать?

Тот же солдат повел меня, наконец, по ковровой плохо освещенной дорожке, через лестничную площадку, еще в один коридор, посадив у какой-то очередной безымянной двери.

Я сидел, обессилев, сцепивши за спинкой стула руки, чтобы не упасть, и — клевок за клевком — стало кидать меня в сон и в невнятные, сквозь дремоту, припоминания. Минувя лестницу, заметил я странно знакомые мне перила над схваченным сеткой пролетом и, тоже знакомые, зубчатые по краям ступеньки. Значит, находился я в старой части двойчатки, «под часами».

Похожую на тир ужину́ коридора, в которую я сейчас глядел, прерывала по касательной сбоку

дверная створчатая арка, и не за этой ли аркой зеркально стелился зал, в котором мы без малого лет двадцать назад отплясывали со шписсовскими девчонками?..

Арка вдруг тронулась и поплыла мне навстречу, ширясь и покачиваясь, и в раструбе ее всплыло лицо, тоже бесконечно знакомое и столь же бесконечно забытое, к которому никак не хотелось подключаться имя, но подключалась вся статья и смутно — какая-то полупоцелуйная размолвка в паузе между танцами, и за ней — стихотворные строчки на голубом с пасторальным уголышком альбомном листке:

Я рассердил вас, это горе!  
Но все ж благословен тот час,  
Когда у зала, в коридоре  
Впервые я увидел вас!

Строчки вспыхивали одна за другой и бежали, как световой транспарант по крыше, то рассыпались и гасли, то складывались вновь:

И остальные встречи наши  
Позвольте мне благословить...

Последние две строки этих моих школьных стишат никак не хотели появляться. Не помню их и сейчас, а тогда — то казалось мне, что вот-вот их нашел, то проваливался в совершенный мрак и ничто, в котором расслышал вдруг собственное похрапывание, подумав про себя вслух: «Скажи пожалуйста, задремал!»

Тотчас же и разлепил веки, потому что бил в них пронзительный свет, и кто-то стоящий на пороге, с фасом, если с испугу сравнить, похожим на Павла Первого, наклонясь надо мной, говорил весьма крикливым голосом, — да, это именно он, а не я говорил:



— Скажите пожалуйста, задремал!

Он продолжал говорить, забираясь за канцелярский свой стол, у которого в полустул-полукресло с полукруглой спинкой показал мне садиться, а я, выкарабкиваясь из топи, куда увязила меня дремота, словно бы издалека и вполслуха слышал его слова.

— У Дюма, кажется, в «Графе Монте-Кристо» есть эпизод, — говорил он, — когда герой сладко спит, хотя наутро ожидает его, может быть, расправа. Где-то это в римских катакомбах, у какого-то романтического атамана, не припомню уж, как зовут.

— Луиджи Вампа, — вспоминаю я и тут же совершенно уже просыпаюсь от этой своей под сказки: был Луиджи Вампа, хоть и романтический, но все же бандит, и что если этот курносый просто-напросто спровоцировал меня на такую опасную аналогию?

Но нет, непохоже. Напротив, перехватив жалкий мой взгляд на сигареты в ларчике из карельской березы, он говорит: «Курите, курите!» и довольно долго молчит, давая мне насладиться затяжками, либо чтобы как следует рассмотреть; глаза у него буравчиками и тусменные, как говорят в народе, то есть как если бы кто подышал на роговицу, но позабыл протереть. Сходство со взбалмошным русским царем, кажется, налицо, к нему еще — глубокие в белесые волосы зализы и едва заметный подергивающий одну скулу тик.

Помолчав, он говорит:

— Я не сомневался, что подскажете мне из Дюма, — вы ведь читаете западную литературу в Сокольниках, я знаю. Гм... мог бы объявить, как у нас это принято: всё, мол, и обо всех нам известно, но, по правде сказать, знаю о вас от

свояченицы — она слушает там ваши лекции.

Помню, после его этих слов запело у меня в груди и замахало крыльями, но тут же и стихло: сигарета вернула мне душевное равновесие и настороженность, то есть память об игре кота с мышкой...

Так отчасти в дальнейшем и получилось, но — лучше, пожалуй, если приведу полностью тогдашний наш диалог, который с тех пор нетленно сидит в моей памяти, как впечатанный туда на машинке.

— Между прочим, — говорит он и кладет короткопалую руку на мышиною цвета папку, которую до сих пор я не замечал на столе. — Всё уяснил, кроме, так сказать, предыстории этой вашей атаки на стенд. С чего именно схватились вы сдирать плакаты?

Я рассказываю ему о балетном выступлении, которого ждала Юта, и о телефонном звонке на счет виденного кем-то анонса (увы, теперь-то я знаю, что всё это было чьей-то идиотской шуткой). В заключение добавляю: «Я, конечно, ничего не сдирал; вы ведь знаете: у меня есть свидетель»...

— Свидетель? — переспрашивает он визгливо. — Вы имеете в виду этого юнца из милиции? Да? У меня есть другой свидетель — тот, который вас задержал, известный нам и уважаемый товарищ! Кому, по-вашему, из этих свидетелей должен я верить? Вы знаете разницу между рядовым мильтоном и членом Коллегии? Разницу?!

Он почти кричит, и на скулах его выступают пунцовые пятна. Всё тепло, плескавшееся у меня в груди, скатывается вниз, как в прорубь.

Я машинально тянусь к ящику с сигаретами и тотчас же отдергиваю руку.

Мы необыкновенно долго молчим — он думает, сжав губы и беззвучно перебирая по столу пальцами; мне кажется, что я слышу, как шуршат его мысли...

Потом крепко проводит по лбу рукой и поддвигает ко мне сигареты.

— Да, да, курите!.. Кстати, по поводу «разницы» — собираю сейчас современный юмористический фольклор. Интересуюсь... Шуточные эти, к примеру, вопросы: «Что за разница между...» Знакомо вам?

— Не совсем.

— Ах, конечно, знакомо. Ну, скажем: какая разница между Волгой и священником? Священник — батюшка, а Волга — матушка. А? В таком духе. На днях записал очень даже изысканное: разница между девушкой и дипломатом. Слышали?

Я слышал, но говорю, что нет, внутренне съеживаясь от этой своей оборонительной и чуть подхалимской лжи.

Он рассказывает мне про «да» дипломата, которое означает «может быть»; про «может быть», за которым стоит отказ, и про невозможное для этой профессии «нет» («какой же он после этого дипломат?»). — Теперь слушайте, — продолжает он, прищуриваясь и подняв вверх короткий указательный палец. — Если девушка скажет «нет», это значит «может быть»; если она скажет «может быть», это значит «да»; а если она скажет «да» — то какая же она после этого девушка?.. А? Ловко?..

Он глядит на меня осклабясь и вопросительно — и я до сих пор со стыдом вспоминаю свое дрянное «хи-хи».

— Неужто не знаете чего-нибудь в этом роде? — спрашивает он.

— Нет. Разве насчет самого слова «разница». Но шутка эта — с бородой.

— Давайте, давайте!

Я рассказываю ему про сельского урядника, пославшего по начальству рапорт о прибитом к берегу утопленнике. Рапорт кончался словами: «Пола установить не удалось». — Дурак, разве не знаешь разницы? — спрашивает начальство при встрече. — Так что, ваше высокородие, разницу раки съели.

Никогда бы не подумал, что этот горбуновских времен пустяк может вызвать такое оживление. Он долго и увлеченно смеется, странно втянув голову и подпрыгивая плечами. У меня же в груди опять возгорается тепло.

«Раки, раки съели»... «разницу»... Какой фольклор! — повторяет он полюбившееся, видно, слово. Потом, выдвинув в столе ящик, достает клеенчатую, карманного формата тетрадку и, всё еще пофыркивая смешком, заносит туда анекдот.

— Ну, разодолжили!.. — говорит он, спрятав тетрадку и откидываясь на стуле — и я ловлю в его движениях словно бы некую разрядку и уют. — Ладно... Что ж мне теперь делать с вами? Сказать по совести, этот сосунок из милиции здорово вам помог. И знаете, как написал насчет повреждения, причиненного вами одному плакату? — он раскрывает мышинового цвета папку, перебирая скрепленные в ней листы. — Вот, слушайте: «...кромка порвата» — так ведь и пишет, сукин сын, «порвата», хоть семилетку кончил!.. «кромка порвата на полсантиметра от плечика товарища Сталина». А? Как вам нравится? На полсантиметра от плечика... Тоже ведь своего рода фольклор!

В общем — выручил вас! А были вы сами, фигурально выразиться, тоже на полсантиметра от... гм...

— Воркуты? — дерзаю я подсказать.

— Вроде. Не то похуже...

Следует продолжительная пауза. Очень не по себе мне от этих пауз — всё чудится за ними беда.

Но он, вдруг положив на стол локти и перегнувшись ко мне, усмехается каким-то своим мыслям и начинает необыкновенно доверительно:

— Пари держу, что раздумываете сейчас насчет веснушчатого своего спасителя: вот, мол, и под милицейским мундиром жива еще русская душа, богобоязненная, справедливая и тому подобное. Которую, мол, не сумели испортить, несмотря на... и так далее. Ведь угадал?

— Представьте, нет. Я об этом не думал!

— Ах, бросьте! Интеллигенты вашего поколения обязательно все народники и богостроители. А на мой взгляд, Белинский был прав, когда объявлял, что русский народ к Богу и религии совсем равнодушен. Что вы на этот счет скажете?

Я принимаю было вопрос за некий новый кошачий эквивок в отношении мышки, но думаю тут же: или — нет? Или просто ему, полуночнику по роду его неблагоприятной работы, хочется почесать со мною язык?

— Мне этой темой как-то не приходилось заниматься.

— Скажи пожалуйста! А я вот так даже пару богословских книжонок прочел. Полубопытствовал. Случилось мне тут одного... то есть я хочу сказать, случилось мне дискутировать с одним фанатиком. «Народ, говорит, богоносец»... цитаты разные... «Всю тебя, земля родная, В рабском виде

Царь небесный Исходил благословляя». И тому подобное. Ну, и конечно, насчет любви и всечеловечности. А сам проповедь сочинил с такими скрытыми, понимаете ли, мотивчиками насчет сионских мудрецов, — нетерпимость прет из каждой строки. Как же, спрашиваю, — отец Моисей его по имени, — как же, говорю, вы так, отец: Моисей, а антисемит?..

Вглядываясь в меня, он, кажется, замечает у меня на лице смятение, какое случается, когда вы не в силах внимать потоку чуждых вам слов, или, например, если попроще сравнить, когда кто-нибудь непрошено начинает вас учить игре в бридж. Но тогда не думалось «проще», но казался невероятным этот пустоглазый чекист, интересующийся богословием!

Теперь, припоминая, я нахожу это самым, может быть, любопытным в этой своей записи: невероятно в мире, в сущности, всё живое; вероятны в нем одни покойники... Но тогда я был в замешательстве.

Он замечает и останавливается.

— Вижу, это действительно не ваша область, — вздыхает он. — Жаль... Хотел, впрочем, только уверить вас в том, что вашему милиционерскому Адонису просто-напросто девочка эта вскружила башку, ваша приятельница, родственница или — как? Очень, я слышал, привлекательна. Ради нее он и полез в бутылку. А не будь ее — и не почесался бы, будьте уверочки!.. Отец ее, кажется, бывший полковник генерального штаба?

— Кажется.

— Ну, вы-то, наверно, знаете точно. Из князей?

— У него нет княжеского титула.

— Ах, да! это у мамыши, я перепутал... И доч-

ка, говорят, подкармливала обоих танцами. Это вы схлопотали ее в танцевальный класс? в студию?

— Я.

— Ну, ладно... Кстати, — продолжает он, и этого с небрежной полуухмылкой произнесенного «кстати» мне не забыть никогда! — кстати, она, верно, места себе не находит, вас дожидаячи. Время-то — час ночи! Ну, и конечно, свояченица моя выцарапала бы мне глаза, если б по моей вине вы перестали бы являться на лекции. Потому... — он поднимается, протягивая мне руку, — валяйте домой! Пока!..

За дверью перехватил меня солдат и повел.

Он смутил меня на мгновение, солдат, потому что беспокойное «куда», кажется, всегда неизбежно, если вас ведут по тюрьме. Но я тут же раздавил гадюку тревоги и — воспарил! Планировал вниз, как на парашюте, косяками и плавно по прямой, жмурясь и захлебываясь от стремительности полета.

Ощущение, когда осталась за спиной дверь и под ногами песчано шуркнул тротуар, словами не передашь, потому что из любых слов оно переливается через край.

Жадно, как никогда, глотнул ночной терпкий воздух вместе с млечным светом фонарей с мерцающей впереди площади. И еще один животворный вздох, и еще...

Улочка, куда меня выпустили, была — как пробитая гигантской секирой траншея, каменно взметнувшаяся вверх. Крупные звезды горели там, на синем впрозелень небесном полотнище между двумя ребрами крыш.

И я перекрестился на эти звезды.

— Продолжение! — потребовала Ия наутро, вместо приветствия. — Хотела только спросить: заглавие «Пока!» — это что у вас, символ?

— Слово, с которым меня отпустили с Лубянки? Не столько символ, сколько тринадцатый знак Зодиака, под которым текла наша тогдашняя жизнь. Оно и возникло, это «пока!», московское «до свиданья!», в тридцатые, кажется, годы. Эстрадник Утесов вставил его в пошловатую песенку с началом:

Пока! Пока!..

Уж ночь далека...

Слушал ее когда-то и думал: в самом деле далека, и какая, может быть, страшная ночь!

Я имею в виду особое, бытийное, я бы сказал, настораживающее и «грозящее» значение этого слова: «пока», — всё еще до сих пор не раскрытое полностью социологами и психиатрами.

А между тем все мы жили в те годы под этим «пока», холодея при мысли: вот сейчас, сию минуту, я еще человек, существую, а ночью стук в дверь — и меня больше нет ни для близких, ни для чужих, ни для меня самого, нет ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем. Оно гудело в наших ушах, как позже, в войну, сирена воздушной тревоги, это «пока», и не было от него никакого бомбоубежища. Оно щепило страхом наше сознание, делало из нас двойников, ущербных и немощных, — и они сражались друг с другом на ринге правды и лжи, мужества и бесчестия... — Но я отвлекся, простите мне эту несколько книжную патетику, — вот вам следующая глава!

И она читает эту главу сейчас, впервые, кажется, забравшись наполовину под зонт, чтобы не слепили страницы глаза.

---



## ЮТА

*Ужасы устремились на меня... и счастье мое унеслось, как облако.*

*Книга Иова 30, 15*

*...У нее*

*Всегда был тихий, нежный, милый голос...*

*Шекспир, «Король Лир»*

## 1

Чай с блюдечка!

Четверть века спустя непреходяще стоит перед моими глазами, как кадр из фильма:

Круглый, обжатый старой клеенкой стол.

Абажур, тоже круглый и желтый, свисающий с потолка.

Меднощекий бормочущий самовар, кругломорденьякая рядом в необъятном кринолине матрешка на чайнике.

Три блестящих озерка с вьющимся над ними парком — три блюдца с огненным чаем; на пальцах растопыркой — мое и Юты, в щепоти с боков — полковника (хозяйка, близоруко щурясь — из чашки). В озерках — зыбь (если дуть), приливы-отливы и звонкий всплеск — если воздырять, как опять же мы с Ютой.

— Кривая окружности, — говорит полковник, — символ уюта. Чем крупнее радиус, тем выразительнее. стакан сужает всё беспощадно, сводит к казенщине, вроде делового визита: вылебнул обжигаясь — и до свиданья! Чашка отвлекает вас выкрутасами формы и росписи. Толь-

ко с блюдечка дышит на вас полнота и благословенность покоя...

Мы с Ютой слушаем и воздыряем, то есть с шумом и бульканьем втягиваем в себя с края блюдечка чай, и Ютина мама переводит на нас с укором темные, чуть навывкате, близорукие глаза.

Полковник же говорит за чаем всегда, потому что весь остальной вечер, часто и за полночь, нем над своей чертежной доской, в углу, под лампой с зеленым самодельным колпачком. Работу чертёжника получил он всего месяца три назад — и как дитя счастлив. Топография, я думаю, была его кровная область, и, значит, чертеж; он был тут почти поэтом и, может быть, казалось мне иногда, самый мир видел как-то линейно-графически.

Однажды, прочитав нам, помню, целую лекцию про золотое деление как нерв графической композиции, поднялся и, поцеловав Юту в лоб, пробормотал по пути в свой угол, почти уже про себя: «Вот, например, наша Юта... — она вычерчена в удивительно верном масштабе. Ни огреха ни в чем»...

Я подхватывал эту его реплику мысленно и продлевал. То есть был уверен восторженно, что масштаб, в котором смоделировала Юту природа, был действительно ювелирно точен и что краски и мера растворены были в ней в самом гармоническом сочетании.

Теперешний скепсис мой заставляет делать разные унижительные оговорки; устанавливать, например, с грустью, что романтик во мне разрушен самым жестоким орудием разрушения — самооглядкой, то есть боязнью показаться кому-то и самому себе сентиментальным. Но от той, давней восторженности своей не отказываюсь до сих

пор и совершенно уверен, что настоящий человек должен произносить слова Красота и Гармония без пугливого заглядывания в самого себя, тем более — в сторону различного рода модернизирующих пустоплясов.

Чай с блюдечка!..

А после чая мизансцена менялась: Ютина мама с французским романом погружалась в плюшевое разлатое кресло — единственное уцелевшее, как она говорила, от бывлой феодальной роскоши; полковник садился чертить, а мы с Ютой отправлялись в ее закут — с окном в кусты и деревья еще не истребленного домового садика, — окном, почти постоянно открытым, потому что время, о котором рассказываю, было весна и лето, в тот год особенно теплые.

Фанерный закут не заглушал голосов, скорее усиливал, и мы говорили шепотом, шепотом же, походя, целуясь: вместе бывали мало из-за разнобоя в своих рабочих часах, а последняя моя электричка (я жил в пригороде) отходила вскоре после одиннадцати.

О наших разговорах: Юта была полным-полна студией, своими и чужими успехами, отработкой разных па и фигур; тоже и грустными разными событиями этой несчастливой для искусства поры: преследованием Мейерхольда, с которым ее познакомили, и прочими мерзостями партийной интервенции за кулисы.

Но главная тема, переполнявшая закут, было наше будущее, наш Сезам, перед дверью которого мы почти уж стояли, готовые приказать: отворись! Сказать слогом попроще: вот-вот должен был состояться развод мой с женой, который задерживался из-за меркантильных препятствий; вот-вот, уже ранней осенью — переезд на новое

место работы, с квартирой! По тому времени это был щедрый подарок судьбы: всего часа два с небольшим от Москвы, то есть значит можно было сохранить и московские лекции. Друзья, которых посвящал в свои планы, называли меня «везунчиком», а перед Ютой, на курительном столике, лежал вычерченный мною план нашей грядущей жилплощади — полторы комнаты с видом на озеро и всего одной только супружеской парой соседей.

— Я должна буду две... нет, целых три ночи ночевать здесь, у мамы, после своих репетиций, — говорила Юта, загибая три узеньких пальца на узенькую же ладонь. — А четыре дня — дома! — добавляла она беззвучно, и это «дома» получалось у нее так, что я бросался целовать ее руки.

С карандашом мы подолгу размещали на моем плане мебель, которой у нас не было, но которая непременно должна была быть, переставляли диван — огромный и непременно зеленый, вешали и перевешивали картины.

— Я возьму папино панно, его можно, пожалуй, повесить вот в этом простенке, да, непременно — в этом! Должно выйти очень уютно! — говорила она, а я, глядя на нее, думал, что все на свете панно — ничто по сравнению с ней самой: так была она хороша!

---

Я предвидел почти, что в этом месте Ия не удержится от замечаний!

— Какая идиллия мещанского счастья! — говорит она, приподнимаясь на локтях. — Двое молодых, мыслящих людей убивают время на то, чтобы решить, куда поставить диван. Совершенно мне непонятно и отвратительно! Недавно,

кстати, прочла стихи одной русской поэтессы о том же:

Люблю квартиры  
Без барахла,  
Где есть картины,  
Но нет стола...

Где нет бокалов,  
Но есть вино,  
Посуды — мало,  
Друзей — полно...\*

Дальше не помню, но очень верно, по-моему! — Богема! На Западе она часто от избытка, не от лишений. А в современной России тяга к комфорту неслыханная. Вообще же это отрицание барахла у вас и у вашей поэтессы — российский полунинтеллигентский анахронизм. За фырканьем на «мещанство» ничего ведь решительно нет, кроме позы, фразы и безобразного бытового продления в виде нечесанных волос, грязных ног и любви вповалку. Да, не гримасничайте! — ничего, кроме отсутствия эстетического вкуса и способности к положительному мышлению. Неужели же непонятно, что за вещным устройством жизни стоит сам человек — его привычки, традиции, воля, способности, и недаром Робинзон — вторая после Библии по распространенности книга...

— Простите, перебыю... Я этот ваш монолог где-то у вас же читала, так что — оставим! Объясните лучше другое: «она была хороша». Что значит у вас «хороша»? Красива?

— Я ведь уже говорил вам, что была похожа на вас. Насчет «хороша»: поэт Вяземский, друг Пушкина, писал о Наталье Николаевне, его жене: «Она была удивительно, разрушительно, опусто-

\* Стихи Елены Матвеевой.

нительно хороша». Ничего этого нельзя было сказать про Юту. Никакой разрушительности не было в ее существовании, напротив, самое, я бы сказал, живительное лучилось тепло. Когда она смотрела на вас, вам казалось сперва, что происходит что-то значительное, торжественное, потом — что вам надо что-то угадать в этой мерцающей черноте ее глаз, наконец — что угадывать ничего не нужно, ни решать что-нибудь, а только продолжать находиться около нее, поблизости...

— Ладно, я буду продолжать! — говорит Ия.

---

## 2

Перебирая снизу своих воспоминаний той поры, подгоняю ее к самому важному, о чем хочу рассказать.

Мы с Ютой — в том дальнем, еще не обжитом толпою закоулке Парка культуры, который относился прежде к Нескучному саду. Забрывают сюда только случайные пары и, разглядев занятую нами скамью, поворачивают обратно.

Это — редкий наш «долгий» вечер, и не сразу решили, где его провести.

По дороге сюда, в «Ударнике» — «Александр Невский», фильм-уступка большого таланта бедному вкусу диктатора. Какие-то кадры его снимались, я помнил, в Алабине, на 48-м километре по Брянской, подле военных лагерей, откуда брали статистов и куда ездил я отбывать командирские сборы. Мелкая речушка с рыжей водой становилась бурой и, как самоубийца, выплескивалась из своего русла, когда вваливалось в нее

рогочущее сермяжное средневековое воинство. На другом берегу — плацдарм-имитация каких-то сражений и вышки для режиссера и киносъемщиков.

У кассы — длинная очередь.

— Пойдем? — спрашиваю я.

— Лучше куда-нибудь, где тихо, — говорит Юта.

И вот мы здесь. Неухоженные, заросшие по краям пырьём и по верху ветками дорожки с уже позванивающим под ногами желтым листом. Потухающее небо. Первые сквозь деревья огни на Москве-реке, а пока разговариваем — и первые звезды; домой тронемся — в звездопад.

Я рассказываю Юте об открытии этого парка, в котором участвовал сам во главе полудетской когорты, сколоченной для модной в то время коллективной декламации. Мы отгрохали тоже очень распространенное тогда: «Туда, где над площадью нож гильотины» — «Мятеж» Верхарна, и устроители, вместе с сестрой Ильича, осыпали нас похвалами...

Она восхитительно слушает, Юта — драгоценное для авторов и рассказчиков качество!

С реки начинает тянуть сырым холодком, и я набрасываю ей на плечи свой пиджак. Она ласково отводит с себя мои бережно-жадные руки.

— Милый, поговорим о завтра! — просит она.

«Завтра» знаменательно тем, что я впервые пригласил Юту и ее родителей к себе за город. Завтра — мои именины, обнаруженные ею в святцах, — сам я о них позабыл. Должен состояться обед, который уже вчерне обсужден, но в подробностях, то есть что к чему, кто что ест и кому чего нельзя ни под каким видом, — в подробностях мы обсуждали его этим вечером без конца. Думаю,

это обсуждение было приятно нам, грядущим молодоженам, а за свое умиление хозяйски сведенными бровями Юты я готов был вытерпеть самые ядовитые насмешки.

Обсуждалось и другое: еще два на именинном обеде гостя: скульптор Р. и доцент Саша — самые близкие мои в те годы друзья, о которых речь дальше.

В общем, тронулись мы уже затемно — в обрез, чтобы проводить мне Юту домой и поспеть на поезд.

Шли сквозь ночную Москву, чей воздух, огни на реке, чуть багровеющее над Кремлем небо я любил более всех других ее достояний.

Шли молча, и по молчанию Юты я видел, что «завтра» по-прежнему занимает ее. Может быть, думал я, ей сейчас, как и мне, непонятно, почему родители не разрешили ей приехать ко мне с утра — всё приготовить получше, чтобы не нужно было заниматься этим моей квартирной хозяйке. Да, может быть, ей было чуть неловко за них — она несколько раз слегка прижималась щекой к моему плечу, и так восхитительно было это ласковое прикосновение, так чудесно белел в полутьме ее профиль рядом, что мне, как какому-то, не помню, бунинскому герою, хотелось от счастья закричать «ура!» и расцеловать ее накрепко, забыв о прохожих. Но я знал, что это ее испугает.

Об этом «испугает», вероятно, и думал, если вообще можно припомнить, о чем думал человек в один августовский вечер четверть века назад. О том, может быть, что некое особое, недидактическое целомудрие было у Юты в крови, что родиться ей нужно было бы задолго до октябрьской катастрофы, что в русской литературе она больше всего любила тургеневское «Дворянское гнездо».



до» и гончаровский «Обрыв», а в западной — «Отверженные»...

Зубовская площадь. Девичье поле... Аллеи и площадки, почти доверху залитые потемками; где-то справа, тоже в потемках, безрукий Толстой, а напротив вдали сквозит меж деревьями рыже освещенный фонтан академии Фрунзе.

Пришли.

— Ты помнишь, когда отходит поезд?

— В одиннадцать.

— Остановка?

— Третья.

— И кто встретит вас на высокой платформе?

— Ты и твои два друга. До завтра, милый!..

### 3

Жил я в Переделкине.

Не в писательском поселке, как мог бы вообразить теперешний западный читатель, знакомый с Переделкиным по биографии Пастернака, но — просто снимал две комнаты в полуизбе-полудаче, торчащей довольно голо между железной дорогой и парком.

Этот старый парк с вытекшими прудами, владение некогда Колычевых-Бодэ, был мой давний знакомый. В конце двадцатых годов происходил там большого размаха пионерский праздник. Тысячи детей; вечером — площадки между деревьями, костры на прогалинах, песни и сладкий запах горелой хвои. При факелах же и площадках разыгрывали там мою пьеску в стихах. Первый мой опус, которого не переставал бы стыдиться, если бы думал, что где-нибудь мог еще сохранить-ся хотя бы один экземпляр...

К северу за парком был большой, как озеро, рытый пруд, вилась мельчайшая речка Сетунь, а пройти с полчаса подальше — в лиловой дали перелесков золотел купол тогда еще не взорванного Храма Христа Спасителя.

Я любил эту дорогу и ее немудреный пейзаж: сквозистый осинник, горстями разбросанный за канавой и телеграфными столбами, суглинистые обрывы в сосёнках и можжевельнике, по осени забрызганные рябиной. Пейзаж этот, перенесенный на полотно, иронически называют «яичницей с луком», но подлинный, осенний особенно, он хватает вас за сердце.

Кстати: рябина росла и у меня под окном; сейчас уже — вся в налившихся оранжево-красных лапках; стаи пичуг совершали на нее налёты, и хозяйка пугала их по утрам.

О хозяйке:

Я называл ее по отчеству: Ниловна, хоть ей было всего за тридцать, а она меня, тоже шутейно, звала Петровичем. Кажется, муж ее отбывал где-то, не слишком далеко, принудительные работы — она ездила к нему каждый месяц. Коренастенькая, вся — от икр до щек — в упругих округлостях, она была проворна и весела, проста и охоча посочувствовать.

Мне она казалась всегда образцом ладной российской бабы, еще не искаженной городом. Зная, что я разошелся с женой и находя, вероятно, мое одиночество слишком задумчивым, она как-то вечером, после «доброй ночи!», добавила, задерживаясь на пороге: «Не изводи себя слишком-то. Если уж больно тошно одному, я к себе пушу»...

Знаю, что сказали бы по этому поводу остряки и фрейдисты, но я слышал в ее голосе чисто

материнские нотки, и она никогда после не выказала обиды, что не воспользовался ее добротой.

Именины мои и обед она приняла под свою бойкую руку, и к утру воскресенья (это был воскресный день — наше вчерашнее «завтра») всё металлическое в избе, чему полагалось блестеть, было надраено до сияния; выскобленный пол, проложенный половичками, гудел под ее сливочными круглыми пятками, как тимпан; стол посерединке, на шесть кувертов, топырился скатертью, вышитой красными петухами; сдобный запах именинного пирога не выветривался никаким сквозняком.

Р. и Саша, конечно же, прибыли не с утра, как было условлено, а с тем же поездом, с которым должны были приехать Юта и ее старики, но с которым они не приехали.

Втроем мы пропустили еще две электрички, выплеснувшие полчища гостей и пикникующих.

Ни скульптор, ни Саша не знали Юту в лицо и забавно отгадывали ее в толпе, оглядываясь на меня для проверки.

Ее не было.

Часам к двум у обоих в глазах забродил такой откровенный голод, что я без труда уговорил их идти подкрепляться к Ниловне.

Я проводил их глазами: высокого и тощего Р., скупого на жесты, шагавшего размеренно по прямой, и Сашу, ему по плечо, оживленно размахивавшего руками.

Теперь я ждал один.

Скорый.

Товарный.

Дачный — и опять никого! Следующие, по расписанию, шли уже вовсе редко. Я не помню

теперь, сколько их подряд пропустил и до какой дошел безнадежности, но помню, что мучила меня не столько тревога (что могло там стрястись?), сколько горечь, что пропал такой обетованный день и что со мною нет Юты.

Поэтому, когда я вдруг увидел ее в разъявшейся двери, впритык приплывшей к высокой платформе, — радость запела во мне сразу сотнями голосов, рванув ей навстречу.

Но тут же и захолонуло!

Не было ни кровинки в близившемся ко мне лице с закушенной добела, как я с ужасом разглядел, нижней губкой. Не останавливаясь и без приветствия, она, обхватив мою руку чуть ниже плеча, стремилась нас вдоль края платформы, к дальнему сходу вниз... Что-то случилось страшное. Что? Что??. Она всё убыстряла и убыстряла шаги, обгоняя попутных приехавших, желая, как я понимал, остаться скорее со мной без чужих глаз.

Приехавшие, спустившись с платформы, сворачивали через пути налево, в поселок. Мы завернули направо, на тропу к парку, за угол станционного здания.

И здесь, выпустив мою руку, она сказала:

— Арестовали моих... Ночью. Был обыск и увезли. Господи! я сойду с ума!..

Она отпустила прикушенную губку — и, словно откуда-то высвободившись, светлыми полуовалами залили слезы глаза.

Я никогда не видел Юту плачущей, и потому, вероятно, сверх живой боли и ужаса, передавшихся мне, так ошеломил меня контраст между спокойным и ласковым мерцанием этих глаз и судорогой, которая их сейчас искажала.

Я прижал ее к себе, слезы тепло и жутко капали на мои пальцы.

Может быть, теперь, уже задним числом, я приписываю себе тогдашнему разные отвлеченности мыслей и чувств, но контраст этот, помню, ощущал я чудовищной слепотой и несправедливостью Неба, и эти слезы выжгли в моей душе шрамы на всю остальную жизнь — ни забыть, ни простить!..

Мы свернули на полпути к дому в парк; под огромной старухой-елью кукурузная шелуха шишек, вверху — шорох прыжков, и белка швыряет в нас огрызками.

Глотая слезы, Юта рассказывает.

Опоздала она потому, что ездила к начальнику своего отца; долго ждала на лестнице, пока куда проснется, но он не принял ее.

Про арест: было четверо. Двое — в форме, не отвечавшие ни на какие вопросы. Еще — хмурый домоуправленец и дворник Степан — эти подписывали протокол об изъятии: книги, кальки и чертежи в рулонах, письма. Прощанье у порога: дальше порога не разрешено... «Господи, не могу вспомнить! Что делать? Что?..»

Это «что делать?» тысячекратно безнадежнее прежнего, месяца четыре назад.

Она собралась тут же и возвращаться в Москву, но я воспротивился: Ниловна уложит ее на ночь у себя. Впрочем, ее самоё, я думаю, пугало одиночество дома.

Снова выбравшись на дорогу, увидели мы идущих навстречу Сашу и Р. По приметам походки (Р., выпив, двигался еще собраннее, Саша же, напротив, бойчей и сейчас приплясывал сбоку, как пристяжная) ясно было, что именинные тосты уже позади.

Опередив Юту на немного шагов, я рассказал обоим в двух словах, что случилось.

Запомнилось мне до сих пор, как посерел лицом Саша, услышав про арест: жил он, мы знали, дрожа — был у него в Америке брат-эмигрант, довольно известный когда-то скрипач, и «органы» от времени до времени ему это припоминали. Что, интересно, мог бы он ощутить, если б предвидел, что через десятка два, приблизительно, лет я встречу с его братом в Нью-Йорке и даже расскажу ему этот маленький эпизод... Но Саша об этом не узнал никогда и, хоть и утверждал обычно, что лучше всего пьется под хорошенькую собеседницу, сидел рядом с Ютой за ужином мрачный, с трудом выдавил из себя один несмешной анекдот, а потом, сославшись на какую-то неотложность, которой никто из нас не поверил, поднялся и уехал...

Перехватив в сенях Ниловну, я попросил ее устроить Юту в своей летней горнице.

— Не спите вместе-то? — удивилась она. — Ну, дело ваше, хозяйское! Застелю для нее кану...

Со скульптором просидели мы допоздна, и на последний поезд я пошел его провожать.

Была уж совсем осенняя ночь: кромешно темная, щедро политая холодной росой.

— Какие страшные дни для этой несчастной девочки! Несчастной и такой прелестной — хоть сейчас лепи! — говорил Р. на басовых нотах, которые как-то полумистически таяли в окружающих нас потемках. — С тех пор как отверг человек людоедство, нет, вероятно, на земле другого угла, кроме нашего, где бы так злодейски возродил его дьявол! И ведь исторические живодееры всех времен, вроде Чингисхана, Грозного или

одержимых от гильотины, оставляли жертвам какую-то щелку надежд, прежде чем перекусить им горло, — ну там чье-то, может быть, слово в защиту, мольбу о помиловании, сострадание, наконец, со стороны. А тут ведь — совершенная и глухонемая безнадежность вокруг. Уволокли двух стариков ночью, втихую, и — куда торкнуться? Кому что-нибудь объяснить, у кого просить милосердия?..

Мы прозевали поворот к станции и шли потом напрямик, по кочкам, на накатывающийся грохот электрички, спотыкаясь и торопясь...

\*\*  
\*

— Ах, мазурики! Нет на них укороту!.. — услышал я голос Ниловны, выйдя утром в сени умыться, и понял, что Юта ей обо всем рассказала, — может быть, и не спали обе всю ночь...

Мы были в Москве часам к двум, и я проводил Юту в ее студию.

У меня самого понедельник был трудным днем: вечером, после своих лекций освобождался я поздно — только-только успеть заглянуть к ней до поезда.

Так и в этот раз — я почти бежал от метро.

Я нес Юте адрес того подлого окошечка на Кузнецком, куда она — без всякого, конечно, успеха — могла обратиться за справкой. Единственное, что я мог узнать!

Не входя в дом, чтобы избежать коммунальных глаз, я постучал к ней в окно из сада. Она тотчас открыла — и я вздрогнул при виде ее вдруг обтянувшихся скул и глубоко запавших глазниц.

— Случилось еще что-нибудь? — спросил я.

— Да... — сказала она помолчав, дрогнувшим голосом. — Да, случилось. Кто-то, представь себе, позвонил к нам в дирекцию насчет моих... насчет ареста. Уже сегодня! Уже! Меня вызывала Н. (она назвала имя известной балерины, их руководительницы) и наш парторг. Они старались говорить мягко, даже ласково, но... Стипендию я во всяком случае больше не смогу получить.

— Бог с ней, со стипендией!

— И вероятно, я чувствую, я читала это у них на лицах, вероятно, мне придется уйти, меня исключат. О! — свела она вместе и заломила маленькие свои кисти, чего никогда прежде не видал у нее. — Ночью сегодня, у твоей Ниловны, мне снилось всё время, что меня кладут в гроб и уже заколачивают гвоздями крышку. Я кричу, кричу... Сейчас у меня тоже чувство, что должна буду вот-вот лечь в гроб. Я почти готова. Всё, всё отнято...

— В гроб нам ложиться некогда! Кто будет тогда выручать наших старичков? Нет, я как раз вот принес тебе...

Мы пообсуждали немножко эти пустые, но, вероятно, единственные к месту слова и, разумеется, адрес. Затем у угла дома раздались шорохи — кто-то из коммунальных проверял, вероятно, нашу мизансцену и разговор.

— Между прочим: когда ты умывалась, Ниловна велела мне обязательно привезти тебя ночевать.

— Нет, милый, я хочу совсем рано за справкой, с самого утра...

## 4

В поезде я перебрал всё случившееся за день и прежде всего — то, что утаил от Юты, чтобы не добавлять к ее смятению еще одной тревоги.



Это произошло на сегодняшней моей лекции.

Я уже упоминал раньше, что читал в Сокольниках курс западной литературы. Читал группе спецстенографисток, про которых знал, что половина была связана с самыми тайными канцеляриями и персонами засекреченным контрактом или иными, более деликатными, связями.

Теперь могу признаться, что на лекциях этих частенько грыз меня страх: не успев иной раз «выговорить» их заранее, боялся у себя формулировок, позволяющих кривотолк, неучтенного вовремя зигзага «сверху» (как учтешь его загодя?) или, наконец, просто случайной какой-нибудь оговорки — ведь каждое «гм» запечатлевалось специальными их каракулями, как теперь на магнитофонную ленту. Одна неприятность уже случилась как-то у меня на Шекспире. «Трагедия Отелло не в том, что он задушил Дездемону, но в том, что ей не поверил», — сказал я и заключил далее, что писатели, которых занимают одни внешние планы, никогда не создадут ничего подлинного. Заключение справедливо сочли намеком на социалистический реализм, и меня вызывал к себе декан.

Сегодня говорил я о романтизме Гюго, в частности — о его «Отверженных», любимом романе Юты, и сомневался: упоминать или нет о том, что Достоевский считал Жана Вальжана «одним из прекрасных лиц христианской литературы». Достоевский очень был не в фаворе, я его отменил — речь потекла свободнее; мешал ей подспудно только один посторонний вопрос, с которого, собственно, мне и нужно бы начать всё рассказывать, но — отвлекся, прошу простить!

Дело в том, что в этой моей аудитории непременно должна была находиться свояченица того,

с лицом Павла Первого, следователя, который, на нее как раз и сославшись, так великодушно отпустил меня с Лубянки, сказав на прощанье «Пока!»

Кто — она?

В нашем с Ютой несчастьи маячила передо мною сейчас ее предположительная доброжелательность — надежда хватающихся за соломинку.

Которые из пятидесяти пар глаз — ее?

Как почти каждый лектор, в россыпи глаз перед собой я отбирал те, с которыми складывался лучший контакт. Эти глаза помещались обычно в самых первых рядах, были пристальны, и возникало в них, зримо для вас, словно бы эхо ваших слов — то сосредоточенность, то сочувствие, то искорки смеха, и струилось тепло. Они, эти глаза, не откатывались со звонком в сторону, но задерживались на вас и тогда, когда вы совали уже в портфель свои конспекты и выписки.

Две пары их выделил я сегодня; обеим владельцам их было, может быть, лет под тридцать, обе были миловидны, неотрывно внимательны, но — разных рефлексов: темному и быстрому взгляду одной сопутствовала и живейшая мимика, а то и жест, вплоть до попытки поаплодировать; у другой же взор был сероглазый, спокойный, длинные серьги тихо свисали к шее, и улыбка была тоже тихая.

Кончив лекцию, я мысленно избрал свояченицей первую, что поживей, и даже задумался, не заговорить ли с ней самому, но подошла ко мне та, что в серьгах:

— Кой-чего я недопонимаю, — можно спросить у вас?

А когда объяснил — проводила меня к раздевалке, где, у вешалок, было уже пусто.

— Вадим, мой свояк, — сказала она покраснев, — тот, что с вами тогда беседовал в управлении, помните? велел передать: завтра, наверно, получите вызов. Так, чтобы не тревожились — это формальность. А меня зовут Катя. Пока!

\*\*  
\*

«Не тревожиться» по поводу вызова!

Один современный философ утверждает, что тревога — самая распространенная из человеческих эмоций и самая сильная. Тридцатые советские годы при этом он не переживал.

Тревогу я одолел с помощью сонной таблетки.

А вызов действительно вручил мне под расписку местный милиционер, молодой и усердный, с глупо значительным выражением лица — словно выскочивший из романа Николая Островского.

Вызов был не в главное расположение «органов», но в районное — то самое, где я побывал весной.

Тот же самый усатый канцелярист в милицмейской форме провел меня, на этот раз почти не заставив ждать, к представительному уполномоченному с гвардейской ряшкой.

— Ба, старый знакомый! — откинулся он за столом, хрустнув ремнями. — Прощу! Как же, помню ваш казус. Один молодой милицкий донкихот чуть не пострадал за него. Но сейчас мы к вам ничего не имеем, только, как говорится, попутно, пару вопросов. Минутку! возьму блокнот... Это — насчет семьи (он назвал фамилию). Давно знаете? Меньше года? И эту очаровательную, как говорят, особу, из-за которой тогда... ну, не важно! Как о ней записать? Невеста? Извините, не могу — в моей справке насчет вас значит-

ся: женат, у женатых же, как известно, невест не бывает, мы не в Турции. Что? Ага, понимаю, но все равно запишу: знакомая. Так. О прошлом ее батюшки знаете что-нибудь?

Он уже дважды назвал фамилию, причем так, что у меня возникла почти уверенность, что она ему издавна знакома; и — тревога: нерусская эта фамилия была когда-то трехчленна; два последних звена были после Октября изъяты из употребления и вместе с родословной утаены тщательно. Я знал всё это слишком хорошо и сейчас боялся, что он насчет этого спросит. Но он задал еще несколько фискальных вопросов, вроде: не велись ли при встречах разговоры политического характера? — и захлопнул блокнот.

— Всё! — кивнул он мне. — Вы не собираетесь ведь уезжать в ближайшее время из Москвы? Нет, конечно, я так и думал. Старшина в той комнате даст вам подписать одну бумажку.

Усатый в той комнате взял с меня подписку о невыезде.

\*\*  
\*

В мемуары мои входят страшные главы моей жизни: война, плен, смертельная — как приговорили было врачи — болезнь. Но несчастнее осени, о которой пишу, всего полутора только осенних месяцев того года, ничего не могу припомнить. Мне и Юте представлялось тогда, что все хляби злодейства и ненависти, накопленные людьми за века, изверглись и осыпаются на наши головы.

Ее исключили из студии уже через несколько дней после ласкового разговора. Это был не разовый только удар, крах надежд, начатого взлёта, но — нечто отнятое навсегда у души, пустота, ко-

торую я читал у нее в глазах и слышал в ее голосе.

«Идет следствие», «идет следствие», «идет следствие»... — отвечали ей неизменно в проклятую форточку на Кузнецком.

Она стеснялась брать деньги на жизнь у меня; но ни одно учреждение с анкетным хозяйством не приняло бы ее теперь на работу; временно я устроил ее к знакомой одной библиотечарше — разбирать вымороченные после чьей-то смерти книги.

Но, может быть, тяжелее всего и враждебней была для нее пустыня коммунальной квартиры. «Мама с соседями очень была хороша, ухаживала, если кто заболит. А сейчас все почти отворачиваются при встрече. Один только Степан мил по-прежнему»...

Степана, дворника, бывшего понятым при обыске, Юта однажды летом посылала ко мне с какой-то книгой. Он застрял у меня тогда до вечера: Ниловна принесла графинчик водки, — и мы с тех пор хорошо понимали друг друга. Пьяница он был горький и тянул ежедневно, без всяких постов.

Я не застал как-то Юту с поезда, утром, и уже выходил из сада, когда распахнулось окно, и Степан поманил войти. Марья, жена его, впуская меня, в сердцах махнула на него рукой и ушла.

Какое-то время понадобилось — убедить его, что я не пью по утрам. Все-таки, упрямо налив мне на доньшко, он наполнил свою стопку доверху и начал шепеляво, потому что вставные верхние зубы носил всегда в грудном кармане завернутыми в тряпочку:

— За Юту и ее папку с мамкой... Подняли! Хотел еще сказать: забрал бы ты девку отсюда, — не сделала бы чего над собой. Я уж приказал своей Машке приглядывать... Главное дело — одна, а людишки у нас — не дай Бог! Доверительно скажу: хотят ее переселять, подписали уже коллективное насчет комнаты, мало что не передрались, кому занимать. А ей — шесть квадратных, вроде чулана, старуха там недавно у нас померла...

Когда я, отбившись от выпивки, уходил, он остановил меня на пороге, дыша в лицо таким пропитым дыханием, что я задерживал свое:

— Слушай еще: тоже и наперед заходи реже в дом-то, не скажи уж — затемно! Учти: бабье у нас распроклятое, враз сочинят заявление, припишут ей аморалку... А управдом наш, скажу тебе, такой землемер — подушку у тебя из-под головы отмежует! Дрянь народ...

## 5

Существовал в Ленинграде один крупный партийный бонза, с которым отец Юты учился когда-то в кадетском корпусе. Она решила толкнуться к нему, и мы с Р. посадили ее в полночь на ленинградский, «Красная стрела», экспресс.

Как раз покуда она — двое суток — отсутствовала, случилось у меня неожиданное интермеццо.

Катя, с которой это интермеццо связано, после первого нашего короткого разговора теперь часто подходила ко мне в перерыве и после лекции с вопросами и — так просто. Я уже знал из ее скупых слов о себе, что она разводка, живет с

маленькой дочкой в правительственном доме и что у нее очень ответственная работа.

В последний раз, когда я кончил, она сказала: «Провожу вас до метро», — и мы вышли вместе.

— Завтра у меня вечеринка, — начала она у спуска в туннель. — Хотите прийти ко мне? Будет тоже Вадим, и я устрою вам с ним разговор. Случайно я знаю про ваши обстоятельства... Придете?

Она засуетилась, как школьница, ища в сумочке адрес, в ответ на мое согласие, и вспыхнула, когда я пожал ей обе руки, прощаясь.

— Там у охраны будет вам выписан пропуск! — крикнула сверху вдогонку мне.

.....

Это был своего рода высший свет, у Кати, до сих пор мне незнакомый и пестрый: странная смесь модного, западного — причесок, шелков до пят, хрусталей на столе — с доморощенностью поз и движений. Пуще же всего — в разговорах, тостах, в самой повадке ощущалось мне: это веселились новые хозяева жизни. Я был им чужероден, и потому, может быть, многие преувеличенно охотно со мною чокались. Состав был текуч: приходили и уходили, выпив из рук хозяйки стопку, шелковые под импортными пиджаками косоворотки; появился и исчез, не обратив на меня внимания, похожий на Павла Первого пустоглазый Катин свояк. Мне стало не по себе, и я начал потихоньку пробираться к прихожей, но Катя тотчас заметила; покачав отрицательно головой, показала мне на огромное, в стороне, кресло и сунула в руки какой-то альбом: «Посмотрите немного, сейчас все разойдутся»...

Было двенадцать у меня на часах, когда, пошаркав в прихожей и поготовав, все действительно разошлись, и Катя, почему-то приложив палец к губам, провела меня в смежную комнату.

Это была, очевидно, ее спальня и рабочая комната вместе: старинное с бронзой бюро и пишущая машинка рядом, кушетка, ковры на полу и мягкий, до полупотемок, свет. Из-за него, вероятно, я не сразу заметил поднявшегося с кушетки Вадима.

— Привет! — сказал он, потягиваясь. — Ведь вот знал в тот раз, что обязательно еще встретимся, — такое чутьё! Ну-с, работы у меня на всю ночь, поэтому буду краток. Дело этих двух стариков — гиблое. В том смысле, что изменить ничего нельзя. А вот эту девицу надо попытаться спасти. Чего вы воззрились? Мы не воюем с девчонками, но мести хотим чисто! Чем здесь можно помочь? Единственно — снять с вас дополнительное показание: мол, у контрреволюционной одной четы выросла с ней несхожая, добротного склада дочка. Показание приложат к делу...

— Насчет контрреволюционности я не смогу подписать!

— Не сможете? Ну, тогда — всё! Нечего было и огород городить. Не сможете? — повысил он голос почти до визга, и скулу его, чуть ниже глаза, дернул тик. — О, проклятое интеллигентское чистоплюйство! Когда поймет ваша братия, что нафталиновые кодексы чести надо менять, чёрт возьми, как меняют одежду, когда попадают из Каракумов в Заполярный край. Не сможете — ну и шагайте себе гордой походкой, а душеньку вашу повезут в телячьем вагоне! Поймите: старикам показание ваше — тьфу! ничего ухудшить не может, а для нее...



Он помедлил, оглянулся на дверь, в которую скрылась Катя, передохнул...

— Ладно, попытаюсь смягчить. Продиктую сейчас, как надо, а там подпишете или нет — ваше дело! Катя! — позвал он. — Ты нам нужна!

Когда Катя вошла и, включив лампочку, домашнему уселась за рабочее свое место, — мне полегчало.

Он стал выговаривать свой стандартный следовательский канцелярит, а я следил за узенькой вязью, бегущей с Катиного прыткого карандаша, и думал о том, что имена и даты он называл наизусть, без заминки, только раз спросив у меня адрес, и что из этого надо сделать кое-какие выводы.

«Я неоднократно, — диктовал он, — бывал в их доме, разговаривая, главным образом, с их дочерью Ией, живущей в отгороженном от родителей помещении, и мне было ясно, что и отец и мать — антисоветские люди».

— Давайте так: «далекие от современной действительности», — предлагаю я.

— «...далекие от советской действительности люди, старорежимной идеологии и понятий».

— Может быть: «во многом оставшиеся в прошлом».

— Мы сочиняем не стихотворение в прозе! Что это за есенинщина: «оставшиеся в прошлом»?

— Вадик! — просит Катя.

— Ладно, чёрт с вами! «оставшиеся в буржуазно-помещичьем прошлом. Однако дочь их, Ия, выросшая в благотворных условиях советской школы, является здоровым и сознательным членом нашего советского общества, нашей молодежи; ее мечта — быть принятой в комсомол, чему

препятствовала до сих пор враждебная настроенность ее родителей».

— Напишем: «социальное происхождение» вместо враждебной настроенности, — говорю я.

Он не отвечает, добавляя еще кое-что о способностях Юты, «отмеченных мастерами советского балета» (опять-таки — по непонятной мне осведомленности), и кончает, хлопнув себя по ляжкам:

— Точка! Перепечатавайте, подписывайте — и завтра я захвачу. Спокойной ночи, Катя, голубка! Пока! (это — мне).

Из почти подсознательного движения что-то узнать, о чем-то спросить — я выхожу тоже в гостиную, делая за ним несколько шагов.

У порога прихожей он вдруг останавливается.

— Дать вам совет? Хотите верней сохранить свою красавицу? Расписывайтесь с ней без задержки и мотайте из Москвы в любую провинцию подальше. Катя меня за этот совет загрызет, но лучшего нету. Всё!

Я еще оставался стоять с минуту после того, как щелкнул в выходной двери замок. Юта, значит, была на полсантиметра от гибели — он дважды об этом упомянул!.. Страх перед нависшей над нами катастрофой, муть от всего этого жуткого вечера, тостов и чоканий — всё слилось во мне и теснило. Я не представлял себе, как пойду сейчас в эту комнату, откуда сыплется треск машинки, и что начну говорить...

Катя уже кончала, когда я вошел.

— Я тут убрала насчет «враждебной настроенности», как вы хотели, — сказала она через плечо, — а больше изменять ничего нельзя — Вадим всё всегда помнит, что диктовал.

Почти механически я перечитал, поставил подпись...

Катя сидела теперь напротив меня в кресле, которое я ей подкатил. Она сменила вечернее узкое платье на что-то просторное и домашнее, оставляющее широкую щель на груди, и, перехватив мой взгляд, стянула эту щель горстью.

— Где же ваша дочка?

— Я отвела к подруге. Она не засыпает, когда у меня народ.

— Большое спасибо вам, Катя, за всё. И должен уходить.

— Куда же? Ведь больше ваших нет поездов?

— Я переночую у приятеля. Это недалеко отсюда, у Кропоткинской.

Она долго молчала, уронив на колени руки и отвернув в сторону, с горящими щеками, лицо. В этой позе, воплощающей ожидание, она была похожа на иллюстрацию к какому-нибудь лирическому стихотворению, которое вы любите, но к которому не можете сию минуту подобрать собственного лирического ключа. Сквозь одолевавшую меня муть я, помню, живо ощутил к ней нежность.

— Оставайтесь! — тихо попросила она.

— Милая Катя, если когда-нибудь вы пригласите меня еще раз, — вам до утра не удастся меня от себя выгнать. А сейчас я пойду.

Она поднялась одновременно со мной и, чуть помешкав, обняла меня теплым сгибом руки за шею и быстро, клевком, поцеловала в губы.

— Ладно, в следующий раз! — шепнула она.

. . . . .

Московский ночной воздух в три глотка выгнал из головы моей муть, и память стала прокручивать, как фильм, случившееся за этот вечер; а на строчках бумажки, которую только что я подписал, вдруг захлестнул меня стыд и отчаяние. Ведь то, что я подписал, был донос! Пусть это обещало (а может быть и не обещало вовсе?) помочь Юте, но ее стариков, уже задыхающихся где-то в предварилке, это могло доконать последним смертным пинком. Сатана, сатана подсказывал мне эту фальшивую игру со словами!.. «антисоветские», «далекие от современности» — не всё ли равно? Любыми из этих слов и своей подписью я подгонял их гибель. Я, человек одного с ними духа и крови, одной, может быть, только случайно разошедшейся в разные стороны судьбы!

В своем смятении, помню, я позабыл даже, куда иду, — шагал, перейдя мост, взад и вперед вдоль гранитного парапета, останавливался, пускался шагать опять и в растравленном своем воображении почти ожидал, что вот-вот вспыхнет напротив, на серо-зеленом небе Замоскворечья огромными письменами: П Р Е Д А Т Е Л Ь !

Да, я предал двух беспомощных, ни перед кем ни в чем не виновных старых людей — и нет мне прощения! И пуще еще нет прощения, потому что предал вместе с ними и самого себя. Того в себе, которого всегда берег, которым гордился и даже хвастал перед собою и другими и которого, начиная с сегодня, больше не существовало.

Вспоминаю теперь, что потом как-то совершенно и неожиданно обессилел. Вдруг разглядел в сумраке лиловые быки моста, гофрированные огни на воде, оранжевые вблизи, а вдалеке блеклые, заволочнутые туманом.

На Спасской начали бить часы; чуть глуховато, по-осеннему влажно, опустились на набережную два главных удара.

Я пошел к Р.

Он жил в одном кратчайшем переулке между Арбатом и Кропоткинской, который выходил к церкви Успенья на Могильцах, в то время превращенной уже в какой-то склад. В этой церкви, не так уж древней, но прекрасно вписанной в россыпь прочих зданий этого уголка Старой Москвы, крестили когда-то меня, а лет двенадцать спустя — и разве это не вполне знаменательное совпадение? — также и Юту.

Ателье Р. помещалось на верхотурке, где была прежде музыкальная школа Брюсовой, сестры поэта. Ниже жила знакомая мне понаслышке семья, устраивающая у себя, вместе с кучкой бывших прихожан, богослужения на дому, с хором, певшим вполголоса. На них бывала и Юта...

В окнах скульптора горел свет. Он открыл мне, как всегда, неспешный и сдержанный, чуть напряженно прямой, потому что старался не покачнуться — на столе стояла уже почти допитая бутылка грузинского коньяка.

— Я ждал вас, — сказал он. — Рассказывайте!

. . . . .

Уже под утро, в рассвет, устроив мне постель на оттоманке, между гипсовыми на подставках отливками, он стоял, заведя руки за голову, похожий бы на кариатиду, если добавить ему бюст, и говорил своим низким, чуть в погуд, голосом:

— Не преувеличивайте своей вины! Все мы — предатели!.. Вообразите себе такое: площадь, на ней вокруг — ну, пусть тысяча человек, взрослых,

неглупых, элементарно порядочных, вроде нас с вами. А посередке, перед глазами всех нас трое золоторотцев-полугорилл насилуют девушку. Они рычат, давят ее коленями, терзают поочередно, она не в силах уже и кричать, — тысяча же вокруг неподвижна: кто оцепенел, кто тщится не видеть, кого рвет от ужаса, но — никто, ни один! не делает шага вперед, не говорит: «Стойте, прохвосты!» Потому что каждый знает, что полугориллы тут же размозжат ему череп, каждый дьявольским страхом отчужден от соседа, убежден, что тот никогда, ни за что не осмелится его поддержать. Вся тысяча нас — преступники, потому что не помешать преступлению, значит участвовать в нем; на руках у каждого кровь, но каждый спешит выразить свое преступление дробью, где знаменатель — единица с нулями, то есть утешиться тем, что он только в тысячной доли злодей, не больше, чем 999 других... Спасительная и постыдная уравниловка наших дней, гнусная разновидность «соборности», которая, кто ее знает! может, и действительно свойственна россиянам; но соборности рабьей, в коей нас теперь дрессируют!..

## 6

Канал Волга-Москва.

Вокруг, вероятно, — Московское море: 327 кв. километров, ширина — 7 км, средняя глубина — немного больше трех метров. Догадка и цифры — из рекламного листка, лежащего в нашей каюте, потому что глазом сейчас ничего не увидишь: ночь, мгла, хлесткий, холодный, болотом пахнущий ветер; только вдоль борта, у которого стою, переливчатой тропкой по черной воде убе-

гаст отсвет палубных фонарей, и видно, что мы плывем.

Юта заснула, а меня вынесло на палубу — потушить в себе возбуждение и смуту, бурление надежд и страха за будущее, — всё вместе. Теперь, когда пишу это, вижу, конечно, что эта ночь, моя и Юты, на прогулочном, для обзора достижений, теплоходе была потолком нашей с нею судьбы, сгустком угроз и преддверием краха; но тогда я знать этого не мог...

На палубе голо и ветрено. Я чиркаю спичку за спичкой, приседая и загораживая огонек горстью, чтобы закурить. Ночной матрос несколько раз шмыгает мимо, задерживаясь за моей спиной; когда иду к корме, ища подветренной стороны, он бдительно осматривает перила, у которых я только что стоял. О проклятая сила, внедряющая безумие недоверия даже и в самые простые сердца!

Я ощутил ее, эту силу, сразу же, как отчалили от Химкинского речного вокзала.

Мы плыли по тусклому под осенним вечерующим небом разливу, вдоль плоских, пустынных, по линейке вырезанных берегов; стояли подолгу у серых шлюзов с потемкинскими башнями управления: деревянными, но облицованными цементом под гранит. Юта рядом со мной громко восторгалась величию зрелища, а я, радуясь этим ее восторгам, потому что было кому за нашим энтузиазмом следовать, вспоминал нечто совсем другое.

Деревню, например, где-то сейчас подо мной, куда ездил, бывало, с Савеловского вокзала за клубникой и к добрым знакомым, переселенную и затопленную на великом отчаянии и слезах.

И еще — всего два года назад — берег, вот этот, может быть, самый, проплывающий сейчас мимо тоскливым шагом, как по команде «марш!», и на нем — две палатки, совсем у воды. В палатках — десятка полтора командиров запаса, я в том числе, посланных сюда на доподготовку: изучение береговой обороны и понтонных мостов. К этим нашим палаткам, почти вплоты, — колючая проволока, за которой строители-зэки. Помню: полурассвет, подъем, после зарядки — бреду у берега, оплескивая щеки холодной из канала водой. «Браток, дай, поброюсь!» — говорит голос из-за проволоки, и, оборачиваясь, вижу троих в рубище, с провалившимися щеками голодающих, и один из них протягивает мне руку «Браток, дай!» — хрипит он, и я не могу исполнить его просьбу ради него же, а больше, вероятно, всё ж таки — ради себя, и счастлив, когда кто-то окликает меня из палатки, и я говорю ему: «Прости, брат»... и ухожу, но забыть эти три фигуры, это заросшее по-звериному щетиной лицо с красными вывороченными веками и протянутую руку не смогу уже никогда.

В палатке мне говорят, что это «отказчики», доходяги по нежеланию работать, но — не все ли равно! У кого может такое желание родиться? Рабы древних египетских царств могли создавать величественные пирамиды и аллеи сфинксов. От свободных, но ввергнутых в рабство землян двадцатого века немислимо ждать вдохновенных сооружений, но только унылость — серые шлюзы и без привета, без кустика — берега...

Об этом я думал, стоя у борта и глядя в ночь и промозглость. Где-то вдали, во мгле и туманной плесени вымигивал береговой маячок или просто бакен: выводил полукружьем недлинный



и блеклый луч и прятал, как за спину; снова выводил — и прятал опять, и мне казалось, что в таком же, примерно, чередовании всплывает во мне всё случившееся за последние дни.

\*\*  
\*

Разговор с Ютой в зале ожидания Ленинградского вокзала, когда воротилась из поездки.

С одного края скамьи — никого; с другого — подмосковная, похожая на Кабаниху молочница с бидоном в мешке и фибровым чемоданищем; вокзальный милиционер, я видел, собрался было ее турнуть, но, поглядев на нас, оставил. Мы с Ютой сели с ней рядом — в каком другом месте Москвы можно было бы так свободно выговориться?

Ленинградский партийный бонза, приятель Ютиного отца, встретил ласково, но ничего не предпринял и не обнадежил ничем. Обещал написать письмо другому бонзе, уже московскому. «Значит, нам нужно ждать»... — заключает Юта.

— Нельзя ждать!.. — Я рассказываю ей всё о вечеринке с чекистами, включая и подписанное мною показание (оно не производит на нее впечатления: так она верит мне!). — Нам надо уехать, чем скорее — тем лучше! — говорю я и, как вспоминаю теперь, говорю горячась, потому что предвижу отпор.

Так и есть:

— Я не могу уехать! — качает она головой, и впервые, может быть, в ее мягком голосе слышатся звонкие, как с тугой струны, нотки. — Может быть, поможет письмо. Может — разрешат передачи, может — свиданье... А если... — она смотрит куда-то мимо меня, — а если ушлют их, — я поеду за ними! Милый! — перехватывает она

мое движение, — я люблю тебя и их одинаково, больше самой себя. Если бы это случилось с тобой, — я бы оставила их, клянусь! поехала бы за тобой хоть на край света. Но их бросить теперь... — нет, ни за что! Ты говоришь: арестуют. Что делать — я не боюсь. Мама говорила всегда: «Господня воля». Воля эта неисповедима, но что хочет Он от меня, я знаю...

— Тебя собираются переселять. Представляешь себе этот быт?

— Не беда, милый. Ты же будешь со мной...

\*\*  
\*

Буду ли?

Я отказался от переезда в О., чтобы не оставлять Юту одну, и теперь ездил туда на лекции раз в неделю с ночевкой. Тамошний декан не прочь был и повторить приглашение с квартирой, но Юта считала, что это все-таки слишком далеко от Москвы, где не останется у нее пристанища для приездов и ранних, с утра хлопот.

И то сказать: городок О. был в Московской же области и значит не выводил нас из гибельного поля зрения. Тоже — и переезд Юты в Переделкино, о чем ежевечерне талдычила Ниловна и твердил при встречах Р. Тут стоял поперек развод.

Я позвонил моей всё-еще-жене на свою бывшую, у Новодевичьего, квартиру, где жила она с девочкой, которую я удочерил, но которая, кстати сказать, не признавала меня отцом.

— Нужно, наконец, это оформить! — сказал я. — Подписываю всё, что ты требуешь, целиком! Можем мы завтра или послезавтра отправиться вместе в загс?

— Принципиально — да, но практически я до конца месяца занята, а отпрашиваться с работы не стану.

— Всё-таки не могла бы ты... Я прошу. Мне эта формальность срочно нужна, до зарезу!

— Тебе до зарезу — и значит прочие обязаны всё побросать и бежать на выручку. Я об этом твоём «до зарезу» кое-что слыхала и счастливые дорожки не хочу тебе расчищать. Нет, потерпи, потерпи, голубчик, помучайся!.. До конца месяца не...

Я повесил трубку. До конца месяца больше двух недель!

А мне дорог каждый час!

\*\*  
\*

Юту переселили сразу же после ленинградской поездки. Наспех побеленный чулан не вобрал ничего, кроме софы и маленького стола. Буфет и другое громоздкое она поставила на время к соседям, что Р. находил вдохновеннейшим поводом для доносов с их стороны...

Вместе со Степаном мы всё перетаскивали, делали полки, разбирали и уворачивали в газеты божницу; «обдумывали» небольшую, без ризы, любимую Юты, иконку, поместив ее за абажуром в углу.

Эта клетка, в которой немислимо было вести сколько-нибудь не для чужих ушей разговор, добавила Юте, я знал, немало тоски. Она не жаловалась, но осунулась очень, и всё становились прозрачней руки ее и лицо.

Я к ней не заходил, встречались мы на Кузнецком, в очереди, или в библиотечных завалах, где она подрабатывала. Но как-то раз, нигде ее не

поймав, я прошел всё-таки сквозь строй примусов и гляделок на кухне, — ее не было дома. Ключ, я знал, торчал за дверной притолокой, и я решил дожждаться ее.

В комнате, на столе, рядом с посудой и чайником — грудка книг с кожаной Библией сверху, потрепанной и в закладках. Книг не помню сейчас, а закладки потянул посмотреть.

На одной — ее почерком, круглым и крупным, который графологи называют детским, написано: «Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего боялся, то и пришло ко мне» (Иова 3, 7); на другой, тоже из книги Иова: «Кто укажет Ему путь Его? кто может сказать: «Ты поступаешь несправедливо?» (36, 23).

Потом я услышал ее шаги.

Она была очень религиозна, Юта. В тот самый раз и сказала мне, что бывает на домашних богослужениях, о которых я выше упоминал. У меня не хватило духу ее отговаривать, заметил только, что не верю, чтобы среди тридцати, по крайней мере, катакомбных прихожан не было бы ни одного стукача и что ходить туда — значит удесятерять для себя опасность.

Она только покачала отрицательно головой, ничего не ответив.

Дважды мне удалось затащить ее в Переделкино. И как раз в последний ее приезд явился и Р. с билетами на теплоход.

— Рейс Москва — Калинин. Мне подарили, а я предлагаю вам. Сам уже ездил; правда, до полночи просидел в буфете, но все же дань вос-

хищения отдал. А вам, думаю, полезно отвлечься: и отдых, и есть, где всё обсудить...

И вот мы плывем.

\*\*  
\*

Три часа пополуночи.

Позади — остановка и пристань в Калининне, которую мы не заметили; позади — ночь, измотавшая нас порывами и запретами, как ритуальный искус; ночь, которой оставалось сейчас всего каких-нибудь три часа до рассвета и чуть побольше — нам до конца нашего пути.

Я продрог, я уже не стою, но почти бегаю по палубе, вдоль стены с иллюминаторами-окнами, закрытыми изнутри деревянными жалюзи, и думаю о фляжке с коньяком в моем портфеле и о том, как сейчас войду в нашу каюту, которая тоже выходит сюда окном, только не могу угадать, каким.

Кабюта была первой неожиданностью, моей и Юты: мы представляли себе теплоход чем-то вроде московского речного трамвая — место к месту и всё у всех на виду.

И вдруг ухмыляющийся чему-то матрос отомкнул нам дверь в двухместную бомбоньерку, отделанную фанерой под красное дерево, — ночное пристанище, которое должно было принадлежать нам одним.

Я опустил жалюзи, включил свет — и всё засверкало и заискрилось: зеркало в металлической раме, металл шпингалетов и вешалок, колер стен, кипень застланных уже одна над другой узких коек. Всё, обдав нас уютом, запахом лака, пиленого дерева и свежего постельного белья,

словно замкнуло нас в ласковые полированные объятия.

— Как в сказке из «Тысяча и одной ночи»! — сказала Юта, осматриваясь вокруг.

Бедная, милая Юта! Теперь, почти четверть века спустя, когда я узнал, что такое подлинная, ласковая к человеку роскошь, — какими нищими кажутся мне эти наши тогдашние бобровые шапки поверх опорок и драных локтей и какой непохожей ни на какую сказку — наша тогдашняя быль! Но, слов нет, в то время могла показаться чудом такая блестящая необычность.

И еще большим чудом, что в ней — мы! мы никогда не были так тесно друг к другу, так скрыты от чужих глаз и так необыкновенно одни!

Это откликнулось краской на бледных щеках Юты, и она попыталась спрятать ее от меня.

— Я похудела, стала совсем дурнушкой... — начала она было, разглядывая себя в зеркало с тем неуловимым никакими координатами поворотом головы, который был особенно у нее хорош. Но тут же повернулась ко мне, положив мне на плечи руки:

— Нет, не то... Я хочу сказать: мы будем здесь всю ночь вместе, но... милый, ты помнишь, что ты тогда обещал? Я не хочу полной близости. Я верю тебе безгранично. Ты обещал. Да?

— Да, — говорю я.

«Тогда» — было в один из ее приездов ко мне, в Переделкино: поздний вечер, и Ниловна готовит у себя Юте постель. Мы с Ютой в моей комнате, и она у меня на коленях. Поцелуи мои ей, видимо, чересчур — она соскальзывает и выпрямляется, хрустнув кистями рук.

— Милый, не искушай меня! — говорит она умоляюще. — Ты мне ближе всех, и я вовсе не

маленькая ханжа, как иногда дразнил меня папа. Но когда я с тобой и счастлива, и эти ласки... Я вдруг вижу своих, сию минуту может быть умирающих или терзаемых... О! всё во мне холодеет. Это кошмар!..

Она опускается на колени, обхватив мою руку своими обеими, хрусталинки слез дрожат в уголках ее глаз:

— Милый, я твоя совсем, но обещай, что ты не сделаешь меня женщиной еще недолго, пока... Ты знаешь, я дала слово маме, я тебе расскажу...

Я поднимаю ее, потому что слышны по половицам пятки Ниловны.

То, что не успела тогда рассказать, она расскажет теперь.

Она уже лежит, когда я возвращаюсь из душевой. Смоль длинных кос сошлась у нее на груди; в них, как медальон в оправе — плечи, лицо, руки под подбородком, огромные с робостью и ожиданием глаза. Я слышу уже с порога, как гулко у меня стучит сердце.

Ночь эта, собственно, нерасказуема. Это вспыхивающие и тут же гасимые пожары, поединки, кончающиеся братанием, бурное «вверх» и бездыханное «вниз». Я долго воюю с маленькой ладонью, которая встречает и отводит мои губы в сторону, жарко дышу в нее и стряхиваю щекой; ладонь уступает и долгие минуты устало лежит; потом вспархивает опять — и это уже целых две Ютиных слабых руки, умиленные самой беспомощностью сопротивления. «Не теперь... не теперь... не теперь!..» — твердит она задыхаясь и вдруг садится рывком, смугло-розовая и горячая в мятых сугробах простынь. Она заламывает маленькие свои кисти с хрупкими пальцами, и у меня от этого, как всегда, сжимаются острой жалостью

зубы и что-то хрустит в груди. «Ты же обещал!.. Знаешь, я не рассказала тебе: когда уводили моих, уже на пороге, маму никак не могли оторвать от меня. «Дай мне слово, что ты не станешь любовницей, но только — женой, только с благословения церкви... Юта, родная моя!..» Я дала слово. Ты должен понять... Боже!..

Она закрыла глаза ладонями, и я кидаюсь целовать ее ноги.

Колпак лампочки на столе обкручен газетой, и в каюте полутемно. Мне кажется, что Юта дремлет, но — нет, она смотрит сейчас на меня, и в глазах ее оживленный свет:

— Милый, знаешь: я перееду в жилички к Ниловне. Пока ты не устроишь свои дела. Я хочу быть как можно больше с тобой. Я уже на днях перееду...

Она обнимает меня за шею, и это снова бросает нас в хождение по самому лезвию искусства и в изнеможение — после. «Мне кажется, ты что-то берешь у меня, когда целуешь, и я становлюсь слабой-слабой, — говорит она сонно, и я вижу, как сами собой опускаются у нее веки. — Ты поцеловал меня сегодня уже тысячу раз... Поцелуй еще один раз — и будем спать»...

Я целую ее еще раз, но спать не могу; верхняя койка так и остается в эту ночь несмятой. Мне хочется много воздуха и, прикрыв еще плотнее газетой свет, я выхожу на палубу.

Дальнейшее — около приблизительно часу и до возвращения — я уже описал.

\*\*  
\*

В каюте меня, издрогшего, встречает тепло, пахнущее чуть Ютиными духами и ею самой — ее шпильками и гребешками, рассыпанными под



зеркалом, платьем в горошек на спинке стула, крохотными лодочками со сбитыми каблуками — у стены.

И — коньяком из фляжки.

Она спит, раскинувшись от тепла. Я осторожно пристраиваюсь на ковре рядом, у ее ног, положив голову на руки.

Думаю, что я задремал, потому что, открыв глаза, вижу сквозящий через неплотно сомкнутые жалюзи серый рассвет.

Я не знаю точно часа прибытия и, когда щели в окне совсем светлеют, бужу Юту.

У нее горят щеки от того, как я ее бужу, и она долго не говорит ни слова, натянув до подбородка простыню, и будто из какого-то ласково-испытующего далёка разглядывает меня.

— У тебя совсем измученный вид, милый! — вздыхает она. — Ты не спал? А я видела удивительный, вещий сон. Расскажу потом, а сейчас — наклонись ближе, я хочу тебе что-то сказать... Я решила, — шепчет она мне на ухо, хотя никто, разумеется, не мог бы нас услышать, — я решила ... — шепчет она, тепло щекоча мою щеку косой, — сегодня вечером будет у нас богослужение, ты знаешь, где... и я спрошу у нашего батюшки, это старый друг наш, он меня крестил... Я попрошу у него благословения, и тогда послезавтра, нет — завтра, завтра уже! переберусь к тебе. Совсем! Как жена!..

Она чмокает меня в щеку и легонько отталкивает от себя. — Теперь отвернись, или лучше выйди. Я оденусь.

Видит Бог, выйти у меня не было сил! и я обнимаю ее взамен, и на этот раз мы оба теряем над собою управу. Сливаются всё в одно: жалость, почти отчаяние, что надо оборвать наше «вместе», предчувствие, может быть, что оно никогда уже

больше не повторится; голос крови, наконец, так долго глушимый. «Нет... завтра, завтра...» — уже едва шелестит на ее губах. Заклинательное это «завтра» властно проталкивается в сегодня, — сокрушает всё только резкий, костяшками пальцев, стук в нашу дверь и, секунду спустя, удаляющийся по коридору выкрик: «Москва—Химки через двадцать минут!»

Я выхожу из каюты.

Я не знаю и, вероятно, не буду знать никогда, благословлять или проклинать мне до конца моих дней этот стук!

— — — — —

Ия опустила листки на песок и приподнялась на локтях в нерешительности: продолжать читать или выговориться.

Выговориться перетянуло.

— Какая нелепость — это насилие над чувством! Самотерзание из ничего! — сказала она с уродующей ее недоброй усмешкой.

— Почему «из ничего»? За идеей целомудрия стояло и стоит больше, чем за идолом секса.

— Дико, дико, дико!..

— К тому же, вы прочли: речь шла о слове, данном в обстановке отчаяния.

— Да, вот и эта интервенция родителей в наши дела — разве не уродство? Постойте, дайте сказать! (Кажется, я сделал какое-то движение, чуть удивившись этому «наши».) Связь двух поколений кончается, когда младшее созревает для деторождения, и всё, больше — никакой опеки! Гадко, если это нарушается, и великовозрастные сынки или дочки-старые девы до вставных зубов играют с мамами в дураки. Арестовали двух

стариков. Почему молодым нужно разделять их судьбу? Как эта нелепица называется?

— Ну, называется узами крови, жертвенностью, отказом от обычаев одного полярного племени высаживать престарелых родителей в снег, на съедение волкам.

— Вздор! — вскидывается она и садится по-турецки, уткнув в бедра ладони жестом всех на свете Мирандолин. — Вам никогда не удастся мне доказать, что вслед за парой, жизнь которой уже прожита, должна обречь себя на гибель другая, еще и не начинавшая жить; что как-нибудь во имя этой вашей «жертвенности» можно оправдать гибель четверых, вместо двух!

— Я и не берусь доказывать, — это надо скорее ощущать.

— Ладно, буду дочитывать! — здесь всего пара страниц у вас... — говорит она и снова берет листки.

## 7

Сразу после теплохода мы начали с Ютой укладываться, и я долго набивал и увязывал две плетеные, феодальной эры, корзины и отдельно — разный бьющийся скарб. Степан должен был доставить всё на нанятом грузовичке в Переделкино. Он встретил новость и поручение с энтузиазмом, и мы с Машей, его женой, выработали специальный для него рацион, чтобы не перебрал на радостях и был бы наутро трезв. Ему же поручено было отметить Юту выбывшей в милицейском участке.

Сама она собралась ехать одна, налегке, с тем

же поездом, с которым я встречал ее в самый первый раз. Переезд должен был происходить без меня, потому что вечером этого дня и утром следующего были у меня в О. лекции и теперь нужно было еще успеть домой, оповестить Ниловну, взять конспекты и книги и — с вокзала на вокзал — поймать нужный поезд.

Перед тем как обнять меня на прощанье, Юта говорит, задумчиво глядя на меня и чуть опустив лицо — манера, которая всегда вызывала у меня восхищение и тревогу:

— Как грустно, что как раз теперь надо тебе уезжать. Знаешь, последнее время, когда мы разлучаемся, у меня всегда такое чувство, будто это навсегда...

\*\*  
\*

Время до завтра ползло, не летело, — летел я! Летел, как летают люди во сне, испытывая, говорят, при этом полублаженное состояние новизны и необыкновенности этого своего полета.

В О. отводили мне для ночевки номер в гостинице: скрипучая кровать, медный чайник с первобытным кипятильником-дужкой, черные, задумчивые по углам тараканы. Вернувшись вечером из института, почти не мог, несмотря на бессонную ночь позади, заснуть: начало знобить, и показалось, что заболелаю.

А когда наконец завтра превратилось в сегодня и кончил лекции — нездоровье заглохло под напором нетерпения и тревог (всё ли сладилось?), под стремительный выстук колес, сперва по Казанской, потом по Киевской; от Москвы сразу уже — на площадку, и — как медленно тормозит электричка у длинного переделкинского причала!

«Может быть, на платформе?»... «Нет, нико-

го!»... Но уже от самого этого «может быть» колотится сердце.

За серыми тучами невидно садилось солнце. Октябрь уж наступил, и рощи отряхнулись начисто, и падь липко шуршала под подошвами, потому что моросил мелкий, как пудра, дождь; вдоль парка различим был шорох его по хвое и в воздухе — хвойный привкус.

Чавкала глинистая колея. Оттягивал руку портфель; бросить бы его, но там — бутылка Донского игристого и две рамки сотов — любимое лакомство Юты.

Вот видна уже и моя крыша, и над ней — рябиновые ветки-гольшки с остатками красных ягод. Сердце бьется у меня уже где-то в горле...

Никого в сенях. Ни вещей...

Дверь в мою комнату настезь, и в глубине за столом, в частоколе бутылок, боком ко мне — Степан.

Он не вдруг замечает меня; заметив — с трудом принимается вытаскивать из-за стола свое длинное туловище.

Он пьян в дым, до беспамятства. Когда выпрямляется, пошатываясь, и я захожу напротив, по другую сторону стола, — в глазах у него серая плева, как у птиц, они воспалены и незрячи.

— Что случилось? — спрашиваю я, и он, вздрогнув, все еще не узнавая меня, может быть — для устойчивости, кладет мне на плечи через стол красные ручищи.

— Степан! — встряхиваю я его. — Говори же!..

Светлый живчик вспрыгивает на его бельма, как электронный блик в окошке компьютера, застревает в зрачках — и они, расширившись, вдруг обретают мысль. Он с силой отталкивает меня и,

вскинув вверх огромные кулаки, обрушивает их сразмаху на стол.

— Взяли! Взя-а-ли-и! — кричит он дико и сам рушится вниз, головой на распластанные по столу руки.

Теперь он плачет захлебывающимися пьяными всхлипами, скрипя зубами.

— Взяли Юточку. Ночью... — говорит рядом со мной голос Ниловны, и две сильных ее руки подхватывают меня под мышки...

Дальше я долго, суток двое, как мне расскажут потом, ничего не помню. Вижу и слышу — только урывками и как в замочную скважину — молодого очкастого доктора, приятеля моего милого Р., лоскуток их спора: можно ли человека, который все время бредит, как я, и о том, о чем я, помещать в больницу и куда он в таком случае после выписки попадет...

Позже, когда миновал кризис, помню у себя Сашу, решившегося все-таки приехать, дважды — Катю, с цветами от студенток и от себя.

Явился раз и Степан, но, наставленный Ниловной, не говорил почти ничего, только мычал и дышал на меня перегаром. Лишь полгода спустя он сообщит мне, что был понятым тоже и при этом аресте, и передаст иконку, на которую, не отрывая глаз, смотрела Юта, когда шел обыск.

А когда почти совсем свалил жар и я взялся однажды благодарить Ниловну за заботу, она, расстрогавшись, принесла мне нечто вполне неожиданное: бюст Юты, из глины, еще даже и сырой, почти телесного цвета.

Свадебный подарок Р.!

Конечно же, показывать его мне он Ниловне запретил, но у нее была своя логика — логика

сердца, как мне теперь кажется, более справедливая.

Бюст — собственно лицо, шея и очень немного плеч — срезан книзу чудесным сечением; постав головы, поворот — тот самый божественный, который я так любил.

Я устроил его рядом с собой на горюшке книг — Ниловна освободила мне для него подставку от фикуса.

Вечером, когда никто уже ко мне не входил, я поднимался с кровати, поворачивал лампу так, чтобы на бюст падал свет, и становился перед ним на колени...

— — — — —

На этот раз я не заметил, когда Ия кончила читать, но только — непривычную для нее позу: сидя на пятках, руки к коленям, она недвижно глядит за гроб нашей ямины, в море, широким раствором своих темных глаз, в которых я то находил, то отвергал тревожащее меня сходство.

— Да, как-то странно и страшно думать, что на Земле, где живем, может существовать в одно и то же время и это вот море, солнце, чайки кричат, такая красота! и — то, что вы здесь описали, — задумчиво говорит она.

И через паузу:

— Это она, Юта, является вам, вы признавались?

— Это она.

— И разговаривает с вами?

— Случается.

— Тоже и теперь?

— Теперь редко. Но боюсь, вы меня не совсем понимаете. Это не метафизика, вроде тургеневской Клары Милич, — просто я вдруг ощущаю ее в себе — ее веру, ее красоту, ее **женственность...**

— Женственность, я знаю, — ваш пунктик. Нечто непонятное для меня.

— Странно, что непонятное, при вашей начитанности. Может быть, это — от нигилизма?

— Вовсе нет! Женственность, по-моему, что-то общебиологическое.

— Да, если сводить ее к тому, что у женщины между ног. Но, например, у амазонок бессмысленно было бы искать женственности. Пусть это, как вы говорите, биологическое, но — дар!

— Красота?

— Больше. Теперь, когда женскую красоту выволокли на журнальные обложки, подмостки, массовое обозрение, вывели в цифрах ее габариты, — она сама по себе для взора почти убита. Где-то у Гёте: «Если радуга долго держится, на нее перестают смотреть». Женственность торжественнее и глубже. И не делайте гримас! У одной современной русской поэтессы, кстати — красавицы и уж никак не проще вас, есть такие, например, строки:

Суть женственности — вечно золотая  
И для меня священная свеча.\*

«Не проще вас» слегка ее задевает, и она долго молчит.

— Я должна была, верно, высказать вам комплименты как автору? Простите, что позабыла, — спохватывается она потом.

— Вовсе не должны были.

— Нет, вы правда не сердитесь, что не сказала этого первым делом?

— Нисколько не сержусь.

— Ну и лады! А то я боялась...

— С каких это пор вы начали бояться меня?

Она — чудеса! — почти что краснеет, свистит Початка и бежит плавать.

\* Стихи Беллы Ахмадулиной.



## ИЯ

*Любовь моя, как я тебя люблю!  
Особенно — когда тебя рисую.  
Но вдруг в тебе я полюбил другую!  
Вдруг я придумал красоту твою!*

*Микеланджело\**

## 1

— Это лето — ваш верный союзник, просто не запомню в августе таких солнечных дней! — говорит мне по телефону Моб. — Кстати: «Темные аллеи» ваши, я слышала, скоро будут кончены?

Я ответил, что скоро — остался один только небольшой рассказ, и Моб, как всегда, полусерьезно-полуиронически, пожелала успеха.

Разговор этот был неделю назад.

А в промежутке — всё неожиданно исказилось и обернулось против меня. Даже август. Оказавшись после случившегося один на пляже, я это остро почувствовал: ветер стал пронзительнее и холодней — было зябко заходить в море и ждать, идя по пологому дну, куда укроет от него вода; поостыло и солнце, разогреваясь только к полудню, и даже всегда безотказный зонтик не хотел вдруг держаться прямо — кренился и заваливался.

А рядом с зонтиком, на песке — две овальные впадины от Иинога задка и повыше поперечная вмятинка — след закинутых за голову локтей.

---

\* Перевод А. Вознесенского.

Мне неволю внезапное одиночество, необратимость встреч, которые сам оборвал, тепла, которое, конечно же, больше в жизни моей не повторится. Я прячу зонт в будку и еду домой, где в эту пору дня бывать не привык и не знаю, что делать.

На через неделю заказан уже обратный полет... Почти бесцельно сажусь за машинку — и вдруг вспоминается множество мелочей из наших разговоров и препирательств, которые забывал или нарочно выбрасывал из своих записей, чтобы не притормаживать повествования.

— До-ля-ми-бим-бом-бам... — сыплется с колокольни, вместе с городским шумом и значит без всякой магии, но, странным образом, сама дневная будничность этого звона будто вводит меня в рабочее русло, и я бегло записываю несколько вспомнившихся эпизодов.

Такой, например:

Мы спустились однажды поплавать вместе, чего обычно не делали под предлогом, что кто-то должен оставаться с вещами и рукописями. Но в этот перерыв, после окончания какого-то трудного пассажа в «Аллеях», были довольны друг другом.

— Я — голая, как вы себе хотите! — сказала Ия и, сбросив фиговое свое прикрытие, побежала в прибой. Море, впрочем, едва шевелилось в тот полдень — горячий без дуновения воздух недвижно висел над нашими головами вместе с солнцем в зените и карканьем чаек.

Мы длинно брели по песчаному дну, уходившему из-под ног, как в гигантском амфитеатре.

Потом она долго и не без щегольства выплывала передо мной на разные спортивные манеры — кролем, брассом и на боку, заставляя засекаать одной ей понятные расстояния на часах, ко-

торые я забыл снять; кувыркалась навстречу волне, и в глазах моих мельтешили, солнечно взблескивая, ее янтарные ягоды и розовые пяточки пяток.

Потом мы лежали на спинах, сперва врозь, а после снесло нас совсем близко друг к другу — чуть пониже моего лица покачивался ее острый локоть и плыли змейками пряди волос. Зеленоватая волна то подкидывала ее легкое, цвета каштанового бедра, то топила, перелизывая его поперек.

— Скажите, если бы была я страшна, как смертный грех, — стали бы вы со мной водиться? Тратить себя на переводы или вот такие купанья вдвоем? А?

— Как говорят в Одессе: очень может быть, но вероятно вряд ли... Не думайте, однако, что поймали меня на крючок. Вы красивы, красота же — дар Гармонии с большой буквы и сама по себе излучает отраду. Мне отрадно на вас смотреть.

— Только смотреть? Я, конечно, уже уверилась в вашей стойкости, но в вашем бескорыстии к моему телу — нет.

— А я и не утверждал никогда такого бескорыстия. Пока человек в состоянии еще спать с женщиной, он в вашем смысле не бескорыстен. Но это не доминанта в моем отношении к вам. Хотел бы, чтобы вы это поняли.

— Я постараюсь, — сказала она недружелюбно и отвернулась.

Не помню теперь, в какой связи, или без всякой, после довольно долгого молчания она продолжила этот качающийся на волнах разговор.

— Вы вот сказали: красота — дар гармонии, и так далее... Я не сильна в философии, хоть и прочла с дюжину разных скучных книг. Что вы

понимаете под гармонией? Дар гармонии — в каком смысле?

— В самом высшем: дар Божий.

— О-о... — протянула она разочарованно. — Я, как вы, может, догадываетесь, атеистка.

— Догадываюсь. В вашем, примерно, возрасте — нет, даже, конечно, моложе, еще гимназистком, — я тоже решил потрясти смелостью мысли нашего батюшку. После урока Закона Божьего, на перемене, подошел к нему и объявил: «А я, батюшка, в Бога не верю!»» Как вы думаете, что он ответил?

— Выдрал вас, может быть, за уши?

— Ничуть не бывало. «Очень нужно Богу, чтобы такой дурак, как ты, в него верил!» — сказал он очень спокойно и отвернулся. А у меня щеки стали гореть от стыда. Понимаете ли: я уже тогда почувствовал, может быть, в словах его правду. Она — в том, что наскоки на Бога действительно удел дураков или бесноватых. Имя Его надо произносить без кликушества и без смущения; так что чем больше в человеке духовной культуры и глубины, чем больше он читал и чем больше думал, тем гармоничнее говорит он о Боге, потому что Бог — и есть гармония. На гармонии и любви становится и стоит мир. А отрицателей Бог просто не объедает, как, скажем, мартышек, удавов или мышей, но — только причастных Ему, то есть тех, кто ищет гармонии. Потому что любовь к гармонии и есть любовь к Богу, и в гармонии Он открывается нам... Я, видите ли, совершенно никчемный богослов и совсем не начитан, но думаю, что гармония в человеке есть Бог в нем.

— Во мне нет гармонии! — сказала она, и мне показалось, что глаза ее при этом стали влажными. Потом, перевернувшись на живот, поплыла сажёнками к берегу.

Теперь — о том, что случилось.

В тот недоброй памяти день мы кончили с Ией в три, как обычно, и разъехались по домам.

Поднявшись к себе, я нашел в почтовом ящике письмо. Оно нарочно торчало наполовину в прорези, чтобы сразу заметить, потому что почту я выбирал по утрам.

Это была анонимка, написанная на скверном английском, с кучей орфографических ошибок, и в переводе на русский звучала так:

«Если вы хотите узнать нечто очень интересное о вашей девушке (girl-friend) — советую вам пересечь пролив и посетить в К. кинотеатр «Золотая юность» (недалеко от «Тиволи»). Там идут сейчас два фильма, и второй, короткометражный, под названием «Полянка», надеюсь, доставит вам большое удовольствие.

Торопитесь, программа может смениться!

Друг».

Почему-то, не знаю, почти и не передохнув, я позвонил Моб и поехал с этим письмом к ней. Может быть — просто потому, что, пускаясь в такую чуть авантюрную поездку, надо было кому-нибудь доложить.

— Что бы это такое значило? — задумалась Моб.

— Вот часа через три-четыре увидим!

— Может быть, просто мистификация, а то и ловушка для вас. Вы твердо решили ехать? Когда?

— Да вот в шесть часов есть паром. Может быть, удастся сегодня же и обернуться.

— Хорошо, едем вместе!

Я попытался было возражать, но еще никому не удавалось остановить Моб в решении, которое принимала она вдруг и на таком аллюре событий.

Через час с небольшим мы уже сидели в салоне огромного парохода, переправляющего через пролив обоюдосторонних любителей перемещаться, вместе с их автомобилями, подарочным и туристическим скарбом. Был канун воскресенья и туча народу, но всех притягивал закусочный стол и беспошлинные между двумя берегами напитки, поэтому в салоне мы были почти одни. Беловолосая стюардесса принесла нам виски и поднос с миниатюрными бутербродами.

— Ну, за успех нашего путешествия! — сказала Моб, побалтывая в стакане ледышками. — Потому что, право же, опасаясь: вдруг кто-то хочет с вами расправиться — с древним, по их представлениям, бобылем, который осмеливается вторгаться в их жеребьячью стаю. Вы знаете этого Карла?

— Видел дважды. Раз он освистал нас с Ией на пляже. Потом шпионил за нами у «Трех королей».

— Он местный чемпион по хоккею на льду.

— Не знал. Вообще-то парень как парень. Баки только похожи на волосы из подмышек и глаза навывкате, что, я замечал, часто признак глупости.

— Он и есть неумысел. У них сейчас тяжкий конфликт с Ией. Она его выгнала, но, кажется, тем не менее, не хочет потерять. А он корит ее вами, так что недавно... Впрочем, это уж лишнее!

Она тянется ко мне прикурить, долго пускает дым и продолжает потом:

— Я чувствую себя иногда немножко предательницей, когда рассказываю вам что-нибудь о Ие, а ей о вас — ничего! Утешаюсь, что хочу ей только добра — последнее время очень к ней привязалась, по-матерински. Убивает меня, что с таким личиком, с такими богатыми данными она не

может найти себя. До смерти боюсь, что пристрастится к наркотикам...

Когда, незадолго уже до причала, Моб в своем кресле задремывает, я выхожу на корму.

Над нею и позади скрипуче голосят чайки, пикируя в пенную взбурленную винтом борозду за всякой съедобной дрянью. А зайти вбок, по ходу — соленый ветер в лицо и голубые контуры веселой, куда плывем, столицы. Сосет глаза огромный вечеряющий купол неба, к закату горизонту сейчас чуть желтый и фиолетовый.

Нет решительно никаких аналогий, но, может быть, по контрасту — вспоминаю тоскливую серость канала, которую выше описал, узкий, мелкий полог воды над братскими могилами строителей и мысль, что «плывешь по костям»...

Вспомнив, с восторгом ощущаю блистающий вокруг простор и самому мне дарованные волю и свободное многопутье. Слава Тебе, показавшему нам свет!..

— Я не пойду сама и вас не пущу, если это какой-нибудь вертеп! — объявляет Моб, забираться в такси.

Но это отнюдь не вертеп, а яркий, в электрических взмигах по фасаду, кинотеатр.

Никого у кассы — фильм крутится непрерывно: начинай глядеть с кадра, на который попал. Оно и естественно, потому что фильмы такого рода — только известные и малоизвестные способы совмещений, без никакого сюжета.

Я устанавливаю это тотчас же по иллюстрациям в красноковровом фойе и спрашиваю Моб, сможет ли она такое выдержать.

— Я не вчера родилась, голубчик! — кидает она, и мы открываем дверь в зал.

Мы открываем дверь в зал, и на нас наваливается непроглядная вокруг тьма, а с экрана вдали

— розовое тесто тел, дышащее, пульсирующее, в приливах-отливах и таким размашистым планом, что явственны, на манер лунных кратеров, поры и полузапудренные ссадины и прыщи.

Плывут огромные, тоже в четверть экрана, губы в частых слизистых поперечинках, в мокром жадном раззёве...

Потом план мельчает, съезживаясь в один из конфузных и выразительных вариантов смычки.

— О-о! — выдыхает Моб и пятится, но я беру ее за руку и веду по проходу наощупь, потому что по-прежнему не видно, свободны ли места с краю; задеваю ладонью чью-то, с краю же, лысину и почти наугад загребаю в следующий ряд впереди.

Мы садимся.

Вариант на экране неутомим, как помпа.

— Можете закрыть глаза, — говорю я Моб. — Я скажу, когда это сменится.

— Вы были правы, — вздыхает она, — это трудно вынести! Почему, почему надо рассматривать человеческие отношения так непристойно, так грязно, сводить только к позывам животных органов? Убивается радость видеть женскую, например, красоту, она уже больше не ощущается красотой...

— Тс-с! — произносит лысина сзади.

К счастью — а может быть к несчастью, потому что были у нас здоровые порывы не дожидаться ничего и уйти, — показ смычных кадров исчерпывается; в зале вспыхивает и снова гаснет свет, и на полотнище веселыми красками зажигается заголовок: « П о л я н к а ».

Красно-желтый, в лаковых солнечных бликах на боках автобус.

Он мчит по роскошной дороге, разбрасывая по сторонам не менее роскошный пейзаж: горы, голубые пруды с белыми точками лебедей, ближе



зеленые кущи с чем-то желтым в цвету и, по обочинам, цветочные грядки.

Интерьер почти пуст. Невнятная чья-то фигура дремлет в хвосте. На переднем сиденье — паренек с русым пушком над верхней губой и русыми же, до плеч кудрями; у нас рисовали так Ваньку-Ключника. Школьник, может быть, выпускник.

На сиденье слева — во весь разворот иллюстрированная газета; ниже — джинсы в заплатках и девчоночьи ноги в маленьких сандалетах; выше — бант на черных, собранных султаном волосах.

За газетой, когда она опускается — а она тотчас же и опускается, — Ия!

Мы — я и Моб — в один такт вздрагиваем и замираем.

Две головы, одна настойчиво, другая — невдруг, оборачиваются друг к другу, кидая и пряча взгляды. Еще и еще... Потом поединок глаз кончается, и паренек переключивается к соседке.

Еще через минуту его пятерня — крупным планом — обогнув узенькую талию, лезет за джинсовый пояс. Пятерня маленькая перехватывает и выдергивает ее оттуда — раз, другой, потом исчезает и — опять-таки крупным планом — показывается шевеление под взбугрившейся тканью.

Затем паренек вытаскивает из сетки сверху альпийский рюкзак с притороченным к нему одеялом и дергает шнур.

Автобус останавливается. Оба выпрыгивают из него и долго петляют по лесной заросли.

Вот она, наконец, и полянка! Весьма живописная, опоясанная вокруг кустами боярышника и стволами, вся в высоких качающихся «любишь-не любишь».

Рюкзак скидывается со спины, скатка расстилается по траве, оба, торопясь, прыгающими пальцами помогают друг другу раздеться.

Рука Моб в этом месте обхватывает мою и сжимает до боли, и я рад: так мне легче сдержаться; не помню в жизни другого такого напряжения, как при созерцании этой современной пасторали; разве — в войну, когда неся однажды на грузовике с бензиновыми бочками вдоль днепровского берега под немецким пулеметным обстрелом с другой стороны, ожидая каждый миг пули.

Скрещенья рук, скрещенья ног,  
Судьбы скрещенья...

Ну, для судьбы — слишком уж всё просто: оба, сцепившись, катаются по одеялу, постанывая, перекатываясь через край и подминая ромашки; какая-то птица, невидная в ветвистом ожерелье вокруг, подсвистывает их неистовству, и — вот ведь что труднее всего вообразить! — по крайней мере еще две пары, тоже спрятанных, глаз, не считая глазка фотокамеры, следят и подсказывают им позы и вдохновение...

Меня трясет. Я вспоминаю, что читал или слышал где-то, как один зритель, первобытный не то душевнобольной, начал стрелять в экран, когда показывали там что-то особенно взволновавшее его и преступное. Ну, стрелять — не стрелять, но закричать: «Караул!»

Пальцы Моб вливаются мою руку, и я зажмуриваюсь. Мне страшно, что этим двоим могут сейчас подсказать нечто такое, чего я уж и не смогу вытерпеть.

Но через минуту-две пальцы разжимаются. Я открываю глаза: счастливая пара уже на шоссе, на оранжевом фоне заката, держась за руки, ждет обратного автобуса у остановки.

«Полянка» кончилась.

Щеки у Моб горят, губы вздрагивают. — Сумасшедшая! — говорит она, поднимаясь. — Как могла она это сделать!

\*\*  
\*

Было одиннадцать, и мы могли бы успеть еще на последний паром, но меня пугал неизбежный тогда и утомительный разговор, а мне хотелось молчать.

Это дошло до Моб, потому что, закуривая сигарету и оглядев исподтишка мое лицо, она сказала:

— Пожалуй, останусь здесь ночевать. Чтобы пойти утром в церковь. Вы проводите меня до отеля?

И потом, в отеле, уже с ключом, полученным от портье:

— А что собираетесь делать вы сами? Спрашиваю потому, что мы с вами сегодня сообщники, то есть значит отчасти ответственны друг за друга.

Недалеко от этого отеля жил мой знакомый, Олег И., гитарист, взявший несколько уроков у самого Сеговии. Был он человек ночной, и к нему можно было нагрянуть, когда угодно.

— Пойду к Олегу, вы его знаете.

— Как не знать! Воображаю, какое произойдет там у вас возлияние! Но от него, уж пожалуйста, никуда.

— Есть: никуда!

Когда поворачиваюсь, она говорит мне вслед:

— А за Ию я помолюсь завтра и привезу вам просфорку.

Меня всегда трогает очень человеческая религиозность Моб. Непримируемая в своих правилах и суждениях, она у виновных — всегда адвокат Добра. Да, обязательно отправится завтра в церковь, построенную здесь предпоследним русским царем, и станет просить Бога защитить и направить заблудшую одну овцу.

. . . . .

Насчет же возлияния Моб угадала: мы с Олегом опустошили бутылки две местной рыжей водки, и его жена, моя землячка, всплескивая руками, изумлялась почти нараспев: «Господи, как пьют! Чисто лошади!»

А одна из «лошадей» — это уже во втором часу ночи — всё еще переживая «Полянку» и припомнив пункт конвенции с Ией, запрещающий ее снимать, ощутила вдруг злобное сердцебиение и набрала на телефонной вертушке номер.

— Это вы? — спросил Иин голос. — Какая-нибудь катастрофа?

— Нет, никакой!. Просто я застрял здесь, в К., так что завтра наша встреча не состоится.

— Ладно. Тогда — послезавтра.

— Вы получите от меня письмо.

— Какое письмо?

— Там увидите...

— Слушайте, у вас какой-то странный прононс. Спрашиваю еще раз: что случилось?

— Почти ничего. Я только познакомился с вашим замечательным кинодебютом.

Мембрана очень долго молчит, и по ней, кажется мне, шуршит неровное дыхание.

Потом Ия вешает трубку.

\*\*  
\*

Письмо Ие, точнее записка, сочинялась на обратном рейсе через пролив и была послана с нарочным. Я предлагал ей прислать мне перевод заключительного рассказа; писал, что готов проверить, если надо, весь манускрипт, но ничего не упоминал о встрече.

Она позвонила мне в тот же день вечером.

— Хочу поблагодарить вас за помощь! — сказала она очень непринужденным голосом. — А с маленьким этим рассказом, спасибо, справлюсь сама. Слышала, что вы на днях улетаете. Счастливо!

И щелкнул рычажок.

Наутро, бродя по опустевшему пляжу, о чем выше уже рассказал, я думал между прочим и об этом «слышала». От кого?

Выяснилось через день, когда потребовала меня к себе Моб.

— Я нарочно выбрала время, когда Пьер на работе, чтобы поговорить без помехи об Ие, — начала она значительно, и по тому, как она начала и как оснащен был столик с напитками, я понял, что предстоит продолжительный монолог.

В самом деле: я узнал из начала, что трагические явления нашей эпохи познаются не общим ее изучением, но проникновением в судьбы ее жертв, потому что лишь в этом случае судьям доступны прощение и любовь, то есть справедливость оценки.

— Вы знаете Достоевского, — говорила она горячась, словно ожидая, что я стану это отрицать, — вспомните Раскольникова, который убил не из корысти, но — чтобы утвердить в собственных глазах свою исключительность. Поверьте мне, я в этом убеждена совершенно, — безумства Ии абсо-

лютно той же природы. Замечательная натура, одареннейшая, но — тот же излом души! Вы знаете — она призналась, что рассказала вам, — вы знаете: в четырнадцать лет ее обесчестил один мерзавец, и эта личная травма как-то переплелась в ней с их теперешним отрицанием, желанием разрушить все решительно Домострой, с эмансипацией, ну и с этой, как у Раскольникова, крайностью самоутверждения... Она умна, красива, умеет подчинять себе многих и хочет быть всех впереди, а экстремизм у нее в крови, мать ее — русская, я выяснила...

Моб говорит еще долго, не вызывая у меня желаний возражать; неясно только, чего она от меня хочет, и я осторожно спрашиваю ее об этом.

— Ия сейчас в отчаянии. Эта «Полянка», этот ее сумасшедший шаг, кажется ей теперь самоубийством. Опять-таки по Достоевскому: «Разве я старушонку убил? Я себя убил»...

— С каких пор ей это кажется? С позавчерашнего вечера, когда про «Полянку» узнали мы?

— Когда про «Полянку» узнали вы! Вы!.. Я не должна бы рассказывать, но в данном случае это не предательство. Вчера она здесь сидела до полночи, вот на этом самом диване, и рыдала у меня на плече, оттого, что упала в ваших глазах.

— Странно!

— Странно? А еще писатель!.. Она показывала мне ваше письмо.

— Что вы хотите, чтобы я сделал? Вспоминаю откуда-то: «Кто она мне? не жена, не любовница и не родная мне дочь»... У меня нет никакого права ее упрекать в чем бы то ни было, ни наставлять, и я не исповедник, чтобы отпускать ей грехи.

— Но я знаю, как вы к ней относитесь.

— Тогда вы знаете больше моего, потому что самому мне это не ясно.

Она задумывается, наливает и размешивает себе какой-то напиток, потом кладет руку мне на плечо:

— Скажите, как друг, честно: взяли бы вы ее с собой, за океан, если бы ей так загорелось?

— В качестве кого? Вы не забыли разницу лет?

— Все равно, в каком качестве. Взяли бы?

— Подумаю — никогда. Не думая — может быть. Но ведь у нее здесь есть сердечные привязанности.

— Да, этот Карл... Очень сложно: оба, по-моему, любят друг друга и вместе с тем — на ножах. Боюсь, может скверно кончиться. К тому же, вчера, когда она тут сидела, я заметила у нее повыше запястья уколы. Она предается теперь новому наркотику. В общем — мне жаль ее безумно. Жаль, жаль, жаль!..

— Я послал ей эту записку, потому что в самом деле после «Полянки» как-то не хотелось на нее смотреть. Но если у нее есть охота встретиться, поговорить — я готов. Ни письма ее не отвергну, ни ее самой. Впрочем, мне остается здесь только четыре дня.

На этом, примерно, кончается разговор.

## 3

Есть в романах Льва Толстого чудесное соемещение душевного строя героя и — природы вокруг; таково, например, звездное, с желтоватой яркой Капеллой, небо, умиляющее Левина после

счастливого объяснения с Китти, или старый уродливый дуб, глядя на который князь Андрей решает, что не существует ни весны, ни солнца, ни счастья.

Это припомнилось мне, когда в серый, как в брезент увернутый, полдень ездил на пляж очищать свою будку — хозяевам надо было отвезти ключ. Под раздевальной лавкой сиротливо торчали резиновые тапки, забытые Ией. Подобрал их, я постоял немного в нашей песчаной выемке на утоптанном пятачке, где втыкался прежде зонт. Ветер трепал верхушки сосен и доставал меня даже здесь, швыряя в лицо песок.

Дома, заполняя пустоту в себе и вокруг, я начал перестукивать на машинке черновики своих здешних записей и просидел до позднего вечера.

Он был совсем осенний, с ледяным, не по сезону, воздухом и дождем. Та-та-та... барабанили капли по стеклу, расплавляя на нем свет уличных фонарей; та-та-та... вторила машинка.

Из-за этой вторы не сразу услышал кукушечью трель входной двери, устраиваемую здесь вместо звонка для приятности и сбережения нервов.

А открыв дверь — не сразу распознал Ию, в темном дождевике, с которого бежали струйки, и с почти сплошным капюшоном, откуда видна была только черная прядь на бледной щеке и один испуганный глаз.

— Примете меня или я должна уйти? — спросила она, протягивая через порог руку.

Она протянула ее ладонью вверх, как за милостыней, и при виде этой маленькой изящнейшей руки, узкого запястья с розовыми над ним пятнышками уколов, защемило у меня в груди; огибая



шаблоны, сказать бы: вот вам Крест святой — чуть не зарюмил в голос!

— Вы самое радостное, что могло случиться со мной в этот вечер! — сказал я, переводя ее за руку через порог. Ее била дрожь.

Я размотал с нее плащ, вывел из пробковых сабо, в которых была вода. Она беспомощно разглядывала мокрые, без чулок ноги, в серых потеках дождя.

— Вы заоченели совсем и, я думаю, голодны?

— Заоченела, но не голодна. Разве что-нибудь крепкое выпить... А можно мне принять ванну?

Она начала было что-то насчет «Полянки», что розовевшая, в моем полосатом халате и шлепанцах дважды крупнее ее ступни.

Мы пили виски на льду, повторяя довольно часто, в чем я не решился ей отказать, и только потом уже, не спрашивая, разбавлял водой.

Она начала было что-то насчет «Полянки», что ее, видно, мучило, но я перебил:

— Давайте выпьем за то, чтобы не вспоминать больше об этом! Ничего не было — ни кино, ни моего к вам звонка из К. Я ничего не помню!

У нее впервые за этот приход выступила улыбка и почти счастливый свет на лице, какого никогда раньше не замечал. Отставив в сторону стакан, она полулегла на диван, в грудку мелких подушек.

— Теперь, пожалуйста, расскажите мне что-нибудь. О ваших планах, о Нью-Йорке...

Я начинаю рассказывать, пристроившись рядом на кожаном пуфе, и, со стороны смотреть, похожу, вероятно, на деда, усыпляющего внучку байками.

Я рассказываю ей о Нью-Йорке, этом выразительнейшем из городов мира, где корневая суть самого слова город: «городить», «громоздить», представлена в размахе чудовищном — в неистовстве камня и стали, во взлетах и вымахах этажей и мостов, в вензелях навесных эстакад, от которых спирает дыхание, глядеть ли на них снизу ли, сверху ль; городе неслыханной щедрости «хлеба и зрелищ» на все спросы вкуса и безвкусицы; прилавков с выбором «птичьего молока»; городе контрастов, страхов, необыкновенностей, великолепной мешанины лиц, цвета кожи, одежд, звучаний и грохота, блеска фонтанов и битого под ногами стекла...

Я рассказываю ей о воскресных звонах и гомоне подле моей соседки — Вашингтонской арки с лебяжьим станом, измазанным самовлюбленными росписями, о чугунно-зеленом Гарибальди рядом, который, что мало кому известно, писал, оказывается, стихи...

Закрыв глаза, она, мне казалось, задремывала, но потом я разглядел на ее скулах пунцовый налив, который постепенно густел и полз под опущку ресниц.

Я все еще бродил где-то около Вашингтонской арки, когда почувствовал на себе ее пристальный взгляд.

— Теперь мне жарко, простите! — сказала она, скидывая с себя в стороны полы халата. Я замирая следил за почти сверлящей меня чернотой зрачков.

— Вы что, не хотите меня? Или не можете?.. — спросила она и, удивленная, может быть, тем, что прочла на моем лице, добавила едва слышно: «Я хочу...»

Когда-то в минувшую войну, попав в плен и уже полуотходя в небытие после двухнедельного голода, я неожиданно был спасен одним даром — как манной небесной: «Voilà du fromage et une romme!» — почему-то по-французски сказал чей-то голос, и я ощутил вдруг под самым носом благодатный сырно-яблочный дух. На мелкую дольку секунды сердце остановилось от страха, что не справлюсь разинуть рот, рвануть зубами... Но только на самую маленькую дольку, потому что тут же пришла и уверенность и — кто поверит! — охота повременить, оттянуть, отодвинуть невероятный и сладкий миг — хруст, и вкус, и сок, и глоток, и — жизнь, жизнь, жизнь...

Что-то сходное околдовало меня и теперь. Я бродил губами по раскаленному телу, вонзал их в шелковую пływучесть живота, в бархатистую влажность под упругой щекотью волос и — медлил, задыхаясь, медлил оторваться для нового вздоха и нового касания. Иина голова перематывалась по подушке со щеки на щеку, взметывая синие пряди волос. Дрогнув чреслами, она притянула меня за плечи повыше к себе...

Конечно же, я не слышал потом ни звонка в прихожей, ни как задубасили в дверь. Не услышал бы никогда, если бы она вдруг не вывернулась из-под меня рывком, — холод и пустота хлестнули меня, как нагайкой, и вошел в уши шум.

— Это Карл... — сказала Ия, бледнея.

Мне давно уже не случалось ценить свои 6 футов, полузабытые приемы рукопашной и мускулы, подбадриваемые гантелями, но сейчас — всё пригодилось.

Он стоял за дверью, этот парень, в такого же цвета, что и у Ии, плаще, но без капюшона; волосяное его хозяйство было мокро и, как показалось

мне, пахло псиной. Пьян ли он был или взбодрен наркотиками, но вид имел смутный.

— Мне нужна Ия! — буркнул он.

— Ее здесь нет.

— Она здесь! — повторил он, сбывчившись.

— Последний раз: нет! — и можете убираться.

Я без труда поймал в воздухе его взлетевший кулак, а другой рукой — сзади на шее те болезненные точки пониже ушей, которые обыкновенно так трудно бывает поймать. Но сейчас удалось, и он даже застонал, когда я выворачивал его к лестнице; а у первой ступеньки вниз, я видел, вздрогнул: ему представилось, что хочу столкнуть его в пролет.

— Я не собираюсь причинять вам увечья, — сказал я. — Валяйте домой. Но если явитесь сюда еще раз — будет хуже!

Я легонько подтолкнул его — и он пошел вниз, принимаясь уже на первой площадке растирать себе шею. Я ждал терпеливо, покуда не хлопнула за ним парадная дверь.

Встретили меня два бурлящих тревогой глаза.

— Что с ним? — спрашивает Ия. Она уже натянула на себя джинсы и лихорадочно хваталась за что-то другое, принесенное в спешке из ванны.

Каюсь: на том же накале, с которым укрощал Карла, я почти кинул ее на диван, но ее сдуло от туда мгновенно, как ветром.

— Я должна идти... мне непременно нужно... — говорит она, приподнимаясь с ковра на локтях.

Я киваю отрицательно головой.

— Отпусти меня! — вскидывается она, почти задыхаясь, обхватывая тоненькими руками мои

колени. — Я приду к тебе завтра, клянусь, на всю ночь, на сколько захочешь... но теперь я должна...

— Я не хочу способствовать убийству. Этот парень невменяем!..

Поднявшись с ковра, она потерянно сидит на краешке дивана, глядя незряче в сторону.

— Вы могли бы отвезти меня на паром? — спрашивает она неожиданно. — Я поеду к родителям. Да, не смотрите на меня так, я не лгу! Я уговаривалась встретиться с ними на днях.

Часы показывают одиннадцать с чем-то. Последний паром в К. отчаливает в это примерно время или чуть позже.

Мы захватываем его перед самым отходом, под прощальный рев сирены. Автотрап уже отделился от пристани; под прожектором с берега капли дождя подскакивают на нем, как серебряные пружинки.

Мы с Ией — у пассажирских сходней. Выпостав из-под капюшона ее лицо, я целую ее в глаза и губы, и нет сил перестать, хотя матрос рядом — весь нетерпение.

Она не отстраняется, но и не отвечает на мои поцелуи. «Ты непременно позвонишь мне завтра!» — говорю я, и она, кивнув, поворачивается и бежит вверх по ступенькам.

Вскипает и бьет о сваи волна, мощный белесый борт с траурной ватерлинией дрожит и отваливает... Я жду, чтобы увидеть Ию на палубе. Она и появляется там, у кормы спасательной подвесной шлюпки, слепо освещенная лампочкой позади. Мне очень хочется, чтобы она осталась там долго, покуда могу еще ее различить, но она вскидывает прощально ладошку (точнее — я только угадываю этот ее жест) и исчезает.

Тоскливое чувство, что, может быть, вижу ее в последний раз, щемит меня, когда возвращаюсь к своей машине. «Господи! — твержу я про себя, — пусть так не будет! пусть не в последний раз!..»

---

П о п р а в к а. На стр. 319 14-ю строку сверху следует читать: Она полоскалась там около часу и вышла по-

## ВЕЧЕРА

*Бес вечерний  
сердце жжет и тянет  
горестною ссадиною старой,  
расстиляется воспоминаньем,  
соблазняет суетою неизжитой.*

*М. Волошин*

## 1

И вот снова катится и грохочет под моими пятнадцатью этажами Бродвей и, после отшумевшей в моих ушах северной тишины, я слушаю грохот его почти с умилением, потому что контрасты — враги однозвучности, а однозвучность — враг вдохновения.

Этот нижний кусок Бродвея, где я живу, узок и неказист, но впадает в него Зеленая Деревня, как я произвольно называю нью-йоркский богемский район, населенный теперь весьма разномастным людом; когда раза два-три в году раскидывается в нем морской звездой самодеятельная выставка, — лучи ее добираются и до меня, и я с балкона в бинокль разглядываю примостившиеся вдоль тротуаров картины и рядом, на складных стульцах, скучающих их творцов.

К Зеленой Деревне по духу и местожительству принадлежит и Сэм — здешний мой друг, эссеист и художник, критик, мыслитель, бродяга и пьяница, а по совокупности всех этих примет — золотой осколочек той русской неповторимости,

которую называют интеллигенцией, которую последнее время чуть ли не принято поносить, но которая одна только и представляет, творчески и духовно, весьма смутное понятие: Россия. «Сэм» он — из «Семёна», сам — из Москвы, а профессиональная его многоликость — от природной щедрой одаренности. Здесь, в завершении моих записок, он важное живое звено, без которого мне, пожалуй, и нечего было бы досказывать.

Написав эти строки сию минуту, чувствую некоторую их стилевую прыть, которая, может быть — от бессознательной неохоты возвращаться к трем последним моим северным дням, о которых необходимо все же рассказать, хотя бы и самыми безрадостными словами.

Да, потому что, отзвонив в местном аэропорте свой полет, ждал три утра и три дня телефона от Ии, и три ночи — ее самое, ждал, не присев за машинку ни разу, с таким колотящим изнутри ожиданием, какого никогда не знал раньше.

А на четвертое утро пришла Моб.

Садясь и закуривая, кружным взглядом зацепила и бутылку с виски на крышке бара, и пузырек с успокоительными каплями на столе — и намурилась.

А когда стала выдувать гейзерчиками дым к потолку, я понял, что пришла не только ради опеки, но и с чем-то ошеломительным, что легче выговорить при встрече, чем — в телефон.

— Новости об Ие... — начала она небрежно. — Она сейчас в К., у родителей. Но там поймали ее киношники — те, которые делали известный нам с вами фильм. Их там целая бригада — молодежных кинозвезд без предрассудков. И представьте: устраивают как раз фестиваль, и чуть ли не приз присужден ей и ее напарнику.

— Это какому же?



— Ну, тому, в «Полянке», которого вы окрестили «Ванькой-Ключником». Она теперь с ним...

— Вы машину свою, верно, сдали? Когда летите? — спрашивает она, сделав паузу и нагнав к потолку целую перину дыму. — Мы с Пьером хотим устроить вам прощальный ужин и отвезти на аэродром.

Покуда она говорила, я гадал про себя, рассказала ли ей Ия о том, что приходила ко мне? Позже выяснилось, что нет, но сейчас я ломал голову.

— Когда я лечу? Сегодня же вечером, если будут места...

\*\*

\*

В мемуарах, говорят, надо — как на исповеди, иначе, чуть что утаил — фальшь!

Свою нью-йоркскую смуту в первые две недели после возвращения с севера я рад бы был утаить, но — как? Она трепала меня, вечерами особенно, без снисхождения. Днем удавалось еще работать, но после сумерек, которые предательски начинались всё раньше и раньше, некуда было от нее деться; вечера выворачивали меня наизнанку — во вчерашнее, которым был одержим. Я привел выше, в эпиграфе, волошинские строчки о «бесе вечером», который жег воспоминаниями.

Жег он и меня. И я вспоминал, вспоминал...

Такой, например, эпизод, которого не привел раньше из-за отвлеченности темы, но который ожил во мне после одного концерта в филармонии:

Мы припозднились однажды с Ией за переводом какого-то трудного бунинского пассажа, и пошел дождь. Пережидая его, продолжали работать в будке, а когда кончили — снова зашли под зонт.

Было все необыкновенно мягко, и влажно, и

дымчато, и чуть печально, как бывает, по моим наблюдениям, только у этих северных морских берегов. Было еще далеко до сумерек, но пронизывал тучи, за которыми собиралось садиться солнце, и другие, текшие по потушенному уже небу, почти вечерний фарфоровый свет.

Я вспомнил вдруг, что у меня давно дежурил в будке рекордер с записью Шестой симфонии Чайковского, которую непременно хотел проиграть Ие, но ждал как раз такого вот бессолнечного и незнойного окружения.

— Что ж, давайте! — сказала она. — Я понимаю, что это в воспитательных целях и в отместку за то, что назвала его музыку кондитерской. Боюсь, что по-иному вряд ли пойму. Может, сперва расскажете суть?

Я пробую рассказать и произношу предлинный вступительный монолог, про себя удивляясь терпению, с которым она его выслушивает.

— Человеческое отчаяние при расставании с жизнью. — говорю я, — в этой симфонии передано, как нигде. Это некий предсмертный душевный скрежет. Ту новейшую музыку, которую недавно здесь вы так защищали, надо отвергнуть прежде всего за бессловесность. Из человечески-внятной речи в ней — одни междометия, — рык, рёв, грохот нерасчленимых звучаний и шумов. В подлинной музыке вам слышен ее язык; иной раз одна лишь, единственная музыкальная фраза дает ключ. С примерами нелегко, но вот хотя бы лирические сцены по «Евгению Онегину» — о них, помнится, вы тоже как-то отозвались пренебрежительно. Роман трагической темы: три героя — три несчастных судьбы. И вся бытийная его суть у Чайковского — в одной фразе финала, порученной Татьяне и Онегину вместе. Это ступенчатый такой антиклимакс, мелодия, скользящая вниз.

Подставлены пушкинские слова, но если б их и не было, все равно бы до нас дошло:

А счастье было  
так возможно,  
так близко...

К Шестой симфонии текста нет, но как внятно слово! Я прокручу только вторую половину. Там, в финале — одна знаменательная ключевая фраза, в которой вся суть вещи, ее мысль, биение сердца и плач. Она звучит в повторах двенадцать, кажется, раз. Тоже спадом вниз, таким изнемогающим выдохом отчаяния...

Но это — в конце, а сперва вы слышите, как шумит вокруг вас жизнь; речитативы движения: шаг, рысь, ход поезда, топот толпы. Ближе, ближе, горны вопят где-то за стеной, за вашей дверью; и это не просто движение, это что-то наступает на вас, чужеродное, вызывающее, исступленное. Это — угрозы, как щелк бича — сверху вниз, сверху вниз. Всё замирает вокруг, затаивает в ужасе дыхание, и тогда (если подставить слова):

О расставанье с жизнью!  
Смерть, я твой голос слышу!..

Потом идет будто много раз повторенное: зачем? Не надо! Зачем-ем?.. И на звуковых спадах уже слышна поступь смерти, ее приближение. Взмет вверх — как глаза к небу, когда набирают полную грудь воздуха, и снова отчаянное:

О расставанье с жизнью!..

И дальше вы уже слышите, как откипает жизнь, как отлетает последний вздох...

. . . . .

Я навсегда запомнил этот необычный концерт — звуки, смягченные, как педалью, полусумеречным влажным воздухом, и прибитые дождем дюны вокруг. И самое Ию: под почерневшим от дождя зонтиком сидит она сперва со складкой на переносице: доставлю, мол, вам удовольствие, так и быть... А потом, к финалу, неожиданно для меня, включается целиком в эту почти мистическую мозаику звуков — я вижу, как поводит ее кряду несколько раз в такт скрипичным пронзительным взлетам и отжимает краску со щек. «Страшно! — говорит она полусшепотом. — И знаете: это словно бы обо мне!.. В общем — почти убедили, спасибо!»

Я записываю на свое konto эту маленькую победу.

## 2

На суету, говорит пословица, и смерти нет!

Не было ее и на мою суету и смуту: после схватки с издателем мы переделали договор на новый, уже о другой книге — не мемуары, а некий гибрид мемуаров и самой острой современности.

Но современностью оказывалось всё то же мое северное приключение. Правда, в авторский его пересказ и хлопоты, как слепить целое, стал вползать теперь вымысел, но главное было подлинно, и в этом главном слишком живо бился пульс жизни и не хватало конца, которого я не в силах был подменить выдумкой.

В итоге, как бывало и раньше, я отложил месяца на два эту работу, занявшись другой, поскученной, и неожиданно обрел спокойствие. Когда зазеленели на вашингтонском сквере деревья, за которыми наблюдал с балкона, эта вторая моя работа поспела уже в журнал, сам я гадал, где стану про-

водить лето, и тихий ветер забвенья шелестел у меня в памяти.

И вдруг — посланье от Моб!

Мы переписывались с нею изредка. Еще осенью писала она, что Ия уехала из К. с какой-то бригадой в Париж, после того как родители пробовали свести ее к одному знаменитому врачу, лечившему от наркотиков другим, менее убийственным наркотиком же. Чуть попозже узнал от нее же, что бригада эта перебралась куда-то еще, в неизвестном направлении. В остальных двух или трех письмах упоминаний об Ие больше не было.

И вдруг — громом с ясного неба:

«Отыскался след Тарасов!» Пришло известие от Ии из Сан-Франциско — вот куда ее занесло! Зиму она провела где-то близко от Голливуда. Письмо душераздирающее: крах всех ожиданий и личный — прежде всего. Пишет: «Теперь уж ничто меня не спасет...» Собирается сейчас в Ваш Вавилон. Не хотела об этом сообщать, но Пьер уверяет, что надо, и я уступаю. Надеюсь, что это Вас не встревожит, что летний эпизод полузабыт, да и Ия вряд ли Вас так уж помнит. Однако, обещайте мне...» И пустяки дальше.

«Не встревожит», «эпизод полузабыт»... — какое удивительное «пальцем в небо»!

А я вот держу перед собой это письмо Моб, перечитываю еще и еще и понимаю, что с той самой минуты, когда я его прочитал, какая-то часть меня встанет на бессменную вахту, а сказать без литературщины — буду вздрагивать теперь при каждом звонке, затаивать дыхание, открывая почтовый ящик и, может быть, даже шарить глазами по лицам в толпе, отыскивая там некие вожделенные черты. Словом — здравствуй, смута моя,

ожившая снова, когда думал, что совсем тебя одолел!



За этими размышлениями как раз и застал меня Сэм в тот вечер.

Среди многих его ипостасей художник был в нем сильнее прочего, и творческим глазом видел он мир всего впечатлительней: умилялся и писал, главным образом, весьма уродливых женщин, раскрывая в каждой ее особое бытийное неблагообразие и гримасы судьбы.

Склонность эта объясняет, может быть, и тот раж, с которым он схватился за мою историю, которую, сам не знаю зачем, я ему рассказал.

Чтобы окончательно его объяснить, скажу, что их было два Сэма: утренний и вечерний. Сэм утренний творил и работал у себя дома, в мансарде, которую как-то ухитрился отыскать в этом городе без мансард, а если по письменной части — то в читальнях, где был завсегдаем. Вечерний Сэм — только созерцал и беседовал. Средостением между обоими был полдник с обильным возлиянием, которое, собственно, и осуществляло метаморфозу.

Ко мне пришел Сэм вечерний и, выслушав письмо и к нему комментарий, зажегся, как факел:

— Что решили вы делать?

— Что тут можно решить, чудак вы! — ничего!

— Как «ничего»! Искать! Спасти, может быть, эту несчастную в самый последний миг. Вытянуть со дна, перед которым горьковское — детские радости. Найти!!

— Найти иголку в стогу? субмарину, затонувшую в Атлантике?

Он вскочил, потрясая над головой руками:

— Отказываюсь видеть в вас писателя! Как! Вы не верите в мистику совпадений и встреч? В невероятности, которые исправляют самые вероятные графики? Стыдитесь! Командовать парадом буду я! Есть у вас ее фото?

Единственный снимок, который, в нарушение нашей конвенции, сделал я с Ии, представлял ее загорающей на песочке, спиной ко мне. Пленка от лежания на солнце попортилась, и отпечаток вышел размытым и точечным. Я заказал увеличение маслом одному из подвальных художников Зеленой Деревни, и получилось неожиданно хорошо, в манере неоимпрессионизма Серá. Картина висела сейчас у меня с Сэмом перед глазами, и я осторожно отвел в сторону свои, чтобы не навести его на мысль...

— Фото нет, — сказал я.

— Тогда... — потянул он с моего стола блокнот, — ответьте мне на вопросы, я попробую один фокус...

Он закурил трубку и стал похож на частного детектива из серийного фильма, ставя какие-то закорючки по углам листа. Вопросы касались Ииного роста, цвета глаз, волос, но были и вполне, по-моему, идиотские, лишённые видимого смысла.

Однако, когда он, посопев и напустив вокруг себя тучу сладкого дыма, показал мне эскиз — я ахнул! Что значит, в самом деле, талант! Это, конечно, была не Ия, но нечто так близко подвоплотившееся к ней, что, казалось, две-три искорки изнутри — и встрепенется именно она, как из кусков сложенный мертвый Иван-царевич от sprыска живой водой.

— Это удивительно! Вы не работаете ли, часом, в полиции, где составляют такие портреты-догадки на неизвестных преступников?

— Я пойду! — говорит он, не слушая. — У меня еще несколько важных встреч этим вечером. Я сообщу вам свой план, когда выработаю.

## 3

Он сообщил.

И так начались в эту весну, очень мокрую и продувную, наши с ним вечера.

Я никогда не предполагал, что моя история его так захватит! Сам я не находил в себе мужества верить в «Экспедицию П. С. Д.» (Поиски Скандинавской Девушки) — как назвал это Сэм; как-то не представлял себе зримо успеха (спасание всё-таки было непрошенным), ходил с ним всюду, полуприкидываясь, что разделяю его надежды, но погасить в себе скрытое, почти мучительное ожидание «сигнала» не мог, и в часы вечернего одиночества — избавиться от нелепого прислушивания к шорохам и шагам, которым неоткуда было взяться!

— Она превосходно сложена, вы говорите? — спрашивает Сэм, пыхтя трубкой. — Значит надо пошнырять по всем зрелищам с гёрлс, где только есть!

И мы сидим в городском мюзик-холле, разглядывая в бинокли розовоногий на авансцене всплеск в перемежающихся цветных заревах; или из полутрущобного партера тщимся рассмотреть на затемненной сцене лица клубящихся на ковре голышей.

— Интересно, хоть и маловато шансов! — звонит он однажды, когда я уже собираюсь спать. — Есть убежище, называется «Веселые Евы». Там две раздеваются, и одна по описанию здорово близка к С. Д. Приятель мне говорил; я показал ему



свой набросок — он так и вскинулся. Буду ждать вас у Главного вокзала в одиннадцать. Надо проверить!

«Надо проверить» — и, значит, бесполезно возражать.

Темные, под мореный дуб, стены и на них розовые в рамках Евы самых разных размеров и поз.

На квадратной посреди зальца эстраде, под лучистыми софитами с потолка — золотистая, как подсолнечник, Ева живая.

— Я уже узнал, сейчас ее сменит наша! — говорит Сэм и заказывает себе виски.

Откуда-то из-за угла ревет антимузыка. Ева приседает и складывается, гнет мостик, свинчивается и развинчивается, сверкая блестяшкой, приткнувшей пупок, лоснясь кожей, льняным каскадом волос, а когда выпрямляется, застывая, чья-то восторженная рука сует под ее узкую ступню свернутую трубочкой пятерку.

— А ведь очаровательна, а? — кивает мне Сэм, поймав взор в нашу сторону, и высоко поднимает стакан, а с эстрады делают ему ручкой. — Эту дуру природа слепила как свой шедевр. И не такой ли вот красоте поэты приписывали выражение вечности?

Я забыл сказать, что после пятого, примерно, виски Сэма всегда кренит на цитаты, которыми он перенабит. Так и сейчас:

В ее прельстительности скрыта,  
 Быть может, соль пучины той,  
 Откуда, древле, Афродита  
 Всплыла прекрасной и нагой...

— читает он.

— Ваше? — спрашиваю я.

— Из Теофиля Готье. Перевел Брюсов. Но — смотрите, смотрите!

Он хватает меня за руку, и я вижу, что мы прохлопали смену: на подиуме — Ева вторая, много первой мельче и с синеватой гривкой до плеч. Она стоит к нам спиной, а когда поворачивается, спуская хитон, мы видим подростковое, едва налившееся округлостями смуглое тело и такой лубочной выделки личико с чуть вывернутыми губками и тупым носиком, что Сэм отпускает мою руку, даже не пытаюсь, как обычно, проверить на мне свое впечатление.

— Не вышло! — вздыхает он и огорченно дохлебывает стакан.

— Пошли домой?

— Я закажу еще виски, если вы не имеете ничего против... — говорит он, подзывая подавальщицу.

Я имею против, потому что, «перебрав» к концу вечера, он впадает иной раз в некую вселенскую скорбь, а то и в ярость. Но новый стакан уже перед ним, и, потягивая через соломинку, он исподлобья, недоброжелательно следит за мельканиями на эстраде.

Ева вторая повторяет все фокусы первой, подробно перечисленные, вероятно, в контракте, — выходят они у нее, пожалуй, непринужденнее и моложавее, но с тем похотливым профессиональным вкусом, который так нравится посетителям этих мест.

Не спуская с нее глаз и всё темнея лицом, Сэм цедит сквозь зубы:

— А это вот та профанация красоты, которую никогда не могу простить шлюхам. Помните, у Елагина:

Картины кострами сложите  
И небо забейте доской!  
Не надо уже Афродите  
Рождаться из пены морской,

Не всплыть ей со дна мифологий,  
И пена ее не родит.  
Тут девка закинула ноги,  
Тут кончился век афродит...

Я доволен, что он ограничивается цитатами, и увожу его наконец из «Веселых Ев».

\*\*  
\*

И еще вечер, о котором надо рассказать, потому что был выразительнее прочих в наших выслеживаниях и даже всполошил нас — правда, ненадолго — кое-какими чаяниями.

— Мы на следу! на следу! на следу! — кричит в трубку Сэм голосом ловчего, обложившего в пуще красного зверя. — Сейчас иду к вам и всё доложу. Сенсация!

Пожалуй, и сенсация: некая актриса из Скандинавии («Не наша, не наша! натуральная блондинка с гитарой!» — обрывает сам себя Сэм) жила будто бы с Ией в одном из местных опустившихся отельчиков, откуда потом Ия исчезла.

— Она не знает, куда, но нужно ее допросить, тоже и адрес отеля... Она будет сегодня в здешнем молодежном притоне — их тут несколько вокруг, я называю их ложами. Этот зовется у меня ЛИН — Ложа Интеллигентных Наркоманов. Есть и ЛИЛ — лесбиянки, туда мы, само собой, не вхожи; и ЛИП — туда нам тоже без надобности... А в ЛИН хозяйка — моя приятельница, она мне про эту, с гитарой, и поведала. Сейчас и двинем. Только вам бы маленько замаскироваться — ну, кто теперь ходит с такими высокими висками, в манжетах и галстуках! Экий снобизм!

Сам Сэм такого рода снобизмом не страдал — бриться забывал неделями, под пиджаком носил

вечный с воротом-черепахой свитер и вообще слабо обновлял гардероб.

— Ступайте лучше один! — сказал я.

— Вы же сами как-то просились поглядеть, вот вам случай! Есть у вас плащик пообтрепаннее? Поменяемся — возьмите мой! Потом — темные очки и шарф круто на шею. Выдам вас там за кинорежиссера, который разыскивает одну удравшую от него натуру, — будут заинтригованы!

Швейцар внизу прищурился подозрительно, распахивая перед двумя пропойцами стеклянную дверь.

Было воскресенье, и — одна из тех самодеятельных на открытом воздухе выставок, о которых я выше упоминал.

Уже смеркалось, и картины снимались со стендов и укладывались в автобагажники.

Сэм шел мимо них по тротуару как меценат-церемониймейстер, зная, казалось, всех и каждого и каждого же одаряя приятностью на ходу. «Вы создаете школу, да, школу, мой дорогой!» — застопоривал он перед картиной, представляющей ночь с помощью кобальтовых проволочек, расходящихся лучами от медной бляшки-луны. «Очаровательные пёсики! — кидает он, уже по-русски, даме с тремя подбородками и дюжиной разноцветных в рамочках пуделей. — Вот-вот залают!..»

Ему улыбались в ответ благодарно и радостно, и я думал о том, что вот не умерло еще в людях некое необозначаемое словом тепло, которое позволяет им привечать и ценить Сэма, не стяжавшего себе ни славы, ни состояния, но просто — доброжелательного собрата их по искусству и судьбу.

В районе Зеленой Деревни улицы начинали уже петлять и перехлестываться, как московские переулки, и было почти темно.

— Ночами тут не совсем безопасно, но меня местная шпана знает и считает своим, — сказал Сэм и вдруг остановился сходу перед совсем незаметной на первый взгляд, прорезанной в крытой подворотне калиткой. — Здесь!

Мы пролезли в нее чуть не боком и по тесному сводчатому проходу — в квадратный каменный дворик со слепыми по бокам стенами, а спереди — зрячей, о двух этажах, с узкими и глубокими, похожими на бойницы окнами.

Сооружение было взбалмошной архитектурной выдумки и сильно тронутое временем. Деревянная лестница на второй этаж пошатывалась и скрипела.

На площадке у двери сидел в углу парень в ковбойке (сторожевое, может быть, охранение) с журналом в руке. Он привстал вопросительно, но, узнав Сэма, снова опустил читать.

Интерьер, когда входим, так пестр, что не вдруг разобрать, что к чему.

Слева, за во всю стену аркой, куда завел меня Сэм, — садовый, с пестрыми клиньями зонтик, опрокинутый ко входу куполом; из-под него — две дюжих ступни с землистыми пятками и четыре мелких, посветлей. Рядом на скамьях груды разной одежды; то же и в том углу, куда вдавился я сам.

Главное поголовье — в зальце с камином. Этот камин с низким перебегающим пламенем, на котором что-то шипит, и фигуркой в красной пижаме, над ним нагнувшейся, вероятно — хозяйкой, первым кидается нам в глаза. Потом — джинсы и волосатые головы слева и справа, вдоль стен по ковру, на подушках или полуповисши, в медитациях или дреме. Пахнет жаревом. Воздух плотен и сиз.

Ближе к середке зальца — группка чуть поживей: две бороды и между ними качалка; в ней — палевый стог волос, плосковатый фас с большими, небесной синьки, глазами и голый мощно выбухший бюст необыкновенной розовости. На вскинутых коленках — гитара. Бородачи отхлебывают из стаканов и поочередно подталкивают качалку, тогда из нее — смешок и ленивые переборы струн.

Всё это, конечно, рассмотрелось уже со второго огляда, а сперва подошла к нам в красной пижаме хозяйка, сказала «Хай!» и беспокойно заборачивалась, куда нас пристроить. «Виски? Джин?» — спросила она.

— Ничего, дорогая! Нам бы эту варяжскую гостью для разговора.

— Вон там! — кивнула она на качалку. — Вряд ли только получится: втроем вытянули они уже чуть не полгаллона!

Она хочет еще что-то добавить, но тут раздается со стороны камина свист — сигнал, вероятно, что подгорают сосиски, — и она бросается их перевертывать и выбирать.

Сэм помогает ей, держа миску.

— Ну, попытаюсь! — говорит он потом. — Экий лососёвый у этой девки цвет титек!

Мне не слышно их разговора из угла, в котором стою, но восстанавливаю его догадкой, по жестам и мимике.

Сэм не сразу находит позицию для своего интервью — с какой стороны зайти? качалка под тычками бородачей скрипит и подскакивает. Подумав, он садится на пол с фронта, придерживая рукою качание, и небесной синевы глаза с недоумением разглядывают его в упор.

Его вступление не берусь передать; он, видимо, называет и мсил, потому что синька всплески-

вает и в мою сторону и, ничего не увидя, уставляется снова на него.

— Ия? Отроду не слыхала такого имени!

— Но, говорили мне, вы с нею жили в одном отеле.

— Стоп! Она девушка? Значит, я жила с кем-нибудь другим. Вы, может быть, пастор?

— Нет, я художник. Я имею в виду: жили в одном и том же отеле.

— О, ва! Я жила не в одном и том же отеле, а в очень многих!

— Послушайте: эта девушка — ваша землячка. И нам совершенно необходимо ее найти.

— Зачем? Откусить, может, ей голову, как русалочке в К.? Вы не из полиции?

Следует убедительная, как я предполагаю, тирада Сэма, снова взгляд в мою сторону и — всплеск в ладоши:

— Стоп! Верно! кто-то говорил со мной на моем языке. Вы правы: это было в отеле.

— В каком?

— О, ва! Неужели я помню название всех отелей, где ночевала! Впрочем, постойте! может быть, вот...

Она скандирует, припоминая, какое-то слово, и, вижу, Сэм потирает довольно руки.

— Мерси! — говорит он, поднимаясь.

— Первый раз слышу от американца «мерси»! О Франция!.. — Она тянет к себе за гриф гитару, подбрасывая декой одну тяжелую грудь, и запекает хрипловато, но не без приятности. Оба бородастых, встрепенувшись, вторят довольно складно.

Сэм подскажет мне позже слова, которых я сразу не разобрал:

Nous nous aimons et nous vivons  
 Nous vivons et nous nous aimons  
 Et nous ne savons pas ce que c'est que la vie  
 Et nous ne savons pas ce que c'est que le jour  
 Et nous ne savons pas ce que c'est l'amour\*

Пенье вызывает шевеление по углам; кое-кто поднимается, садясь по-турецки. Хозяйка раздает надетые на зубочистки половинки сосисок.

— Сматываемся! — говорит Сэм.

До самой калитки провожает нас уже несколькими голосами:

Et nous ne savons pas ce que c'est la vie...

— Я недаром назвал эту ложу интеллигентной, — говорит Сэм, — по-французски поют! Ну — что, я был прав? На следу! на следу! Завтра дви-нем в этот отель — и всё, может быть, выяснится!..

4

Но завтра принесло фиаско решительное.

Началось, собственно, уже с самого обличья этого доходяги-отеля, где былых дней позолота пряталась под почти неправдоподобной замызганностью убранства и стен, и с покерной физиономии хозяйки, которая только что не кликнула двух торчавших неподалеку верзил с мордами отставных боксеров, чтобы нас выкинуть.

Она, видимо, несмотря на сотворенную Сэмом легенду, приняла нас за сыщиков. Главное же —

---

\* Стихи Жака Превера. В совсем свободном переводе:

Мы любим друг друга. и жить нам не лень.  
 Мы живем и любим друг друга.  
 Но что это — жизнь? что — любовь? что — день?  
 Узнать — у нас нет досуга!..



и это было самое удручающее! — она, конечно, знала то, что нам было нужно, но не благоволила сказать.

«Думаете, что обо всех девках, которые у меня ночевали, я стану сообщать вам подноготную?» — заключила она, и двое верзил сделали в нашу сторону шаг.

Вместо «girls» она употребила «sluts» — мерзкое в этом контексте слово.

Я назвал выше нашу неудачу решительной, подразумевая, главным образом, Сэма, который после этого отеля вдруг потерял ко всей истории интерес и так «перебрал» вечером у себя дома, что лыка не вязал в телефонную трубку, когда я хотел с ним кое-что обсудить...

\*\*  
\*

А как обстояло дело со мною самим?

В апреле пришло строгое напоминание от издателя — не задержать манускрипта!

И начались поиски конца, о которых я уже упоминал. Конца, который замкнул бы литературную историю об Ие.

Я находил их десятки, концов, занимательных, подкованных психологией или просто эффектных, — и отвергал: все они препирались с концом подлинным, которого не существовало, но который мерещился мне так тревожно, что когда, на какие-то фантастические минуты, казалось мне, я его находил, это едва не стоило мне инфаркта.

Не веря в нашу с Сэмом экспедицию, я всё еще ловил себя на том, что в любом многолюдьи — в театре или кино, в уличном спертном потоке, в подземке либо в автобусе — шарю глазами по ли-

цам с нелепым, давно уж почти бездыханным упованием: а вдруг!

Как где-то в чьих-то стихах:

Ищу на тебя похожих —  
И нет на тебя похожих...\*

\*

\*\*

Это было в мою первую в апреле вылазку за город, где засиделся, и навстречу закату ползли уже сумерки, когда ехал домой. Почему-то хотелось вернуться еще без больших огней, и я гнал машину быстрее дозволенного.

Может быть, от этого вдруг не то что вспомнил, но почти увидел рядом с собою Ию — как когда-то она мчала меня вдоль скандинавского лукоморья, выжимая из своего красного фольксвагена почти невозможную скорость, и говорила, вздрагивая побелевшими от возбуждения ноздрями: «Обожаю этот звук, когда встречаются на лету две машины, — сплюснутый, острый, как бритва: хип!.. хип!.. хип!.. Чудо как хорошо!»

Дороги — поэзия Америки. Моя, в разлете ее и стремительности, то и дело ныряет под горбатые гранитные виадукки; с боков плакуче нависают на нее тополя, на сквозистых грудях которых еще только угадываются почки; известково белеют обочины, обсыпанные мигающими, как ресницы, столбиками, за которыми — уже неразличимая пустоглазость вечера.

Когда миганье их сливается в сплошной росчерк, я снимаю с газа ногу, и тут случается то, о чем хочу рассказать.

Открытый, цвета сливочного мороженого «мустанг» вывертывается вдруг сбоку, метрах в двухстах от меня, рулит на обгонный путь и несется,

---

\* Стихи Ираиды Лёгкой.

ловя лаковыми боковушками пунцовые кляксы заката и на глазах уменьшаясь.

За рулем — потрясающе мелькнувший профиль, знакомый постав головы, черные разлетающиеся над узкими плечами пряди.

Ия?..

Сердцá, моё и сто двадцать — мотора, разом откликаются на это видение, и для них перестает существовать что-либо другое на свете, кроме этих плещущихся по ветру волос и уносящегося прочь сливочного пятна, взблескивающего на рессорных подскоках.

Я без труда обхожу три идущие между нами машины. Несколько встречных рассекают воздух, как сабельный клинок:

Хип!

Хип!..

До сих пор вижу перед глазами беззубо-панический рот старика верхом на автограблях, напоминающих краба, — я не задеваю его, конечно, но воткнутый у него за сиденьем красный флажок срывает воздушным рывком.

Мустанг, заметив погоню, набирает скорость, но — всё равно! лаковые блики становятся ближе; мы заглываем расстояние, как акула наживку.

Ия?..

Мне кажется, я вижу памятный, назубок вытверженный, поворот шеи и плеч, чудится упрямо вскидывающийся подбородок... Мы идем теперь на швырок мяча друг от друга. Еще минута — и будем рядом, или наше сто двадцать одно сердце брызнет на воздух...

И вдруг — желтая секущая предупредительных тумб и мигалок: одна колея! Огромный ремонтный грузовик вываливается откуда-то слева и — прощай, видимость!

Ползу за ним в сизой поземке грейдерной пыли и неожиданно окунаюсь в черноту.

Туннель!

Два красных зрачка с широкой переносицей подпрыгивают передо мной на проложенных поперек швах; пахнет стынущим варом.

Проклятый грузовик наконец жмется в сторону, и вдали открывается синевато-серое устье, похожее на бутылочное горлышко.

А когда из него вытекаю — дорога впереди, уже до краев налитая потемками, пуста!

Я включаю малые огни и еду теперь медленнее разрешенного. Вместе с внезапной усталостью, так же внезапно приходит очевидность самообмана, и я говорю про себя любимым присловьем Ии:

— Экая чепуха!..

А дома припоминаю из наших полдней на пляже — разговоры с горячим подтекстом, темы, ключие, как ежи. И добавляю в манускрипт то, что вспомнилось.

Например, такое об Ие:

Я приучил себя к ее голому виду, но все же от иных пластических конфигураций на фоне солнышка и песка отводил глаза в сторону. Иногда и с присказкой.

— Вы Карамазов! — огрызнулась она.

— Что, интересно, понимаете вы под карамазовщиной?

— То же, что и вы. Вот хотя бы: кто-то утверждает в романе, что карамазовы не могут смотреть на женские ножки без судорог. Вы, кажется, тоже.

— Смотрю я беспокойно на ваши? Кстати сказать: несмотря на нигилизм, вы очень их холите.

Она садится на скамеечку под зонтом, вытянув ноги так, что ступни с карминными ногтями почти упираются в мою грудь.

— У каждого свои слабости, — говорит она, — есть у вас пилочка для ногтей? Два обломались. Если бы это не было нарушением конвенции, попросила бы вас подпилить, но теперь прошу только пилку.

И после педикюра:

— Беру назад насчет карамазовых. Но хотите признаюсь вам: чувствую иногда и в себе что-то inferнальное, по Достоевскому. Например, вдруг накатывает: хотела бы видеть вас изнывающим на этом вот месте от запоздалого желания мной обладать, а мне будто это доставило бы удовольствие!

— Почему «запоздалого» желания? Биологически от меня может еще родиться дочь, а если проживу еще девятнадцать лет, то и вырасти в такое же чудовище, что и вы...

— Гм...

— Нехорошо попрекать людей старостью, это у вашей власократии настоящий расизм!

— То есть — как?

— То есть так, что если расизмом мы называем шельмование по случайному признаку — цвету кожи, например, или национальной принадлежности, то дискриминация по признаку возраста — расизм тоже. Вы пренебрегаете богатством опыта, зрелостью разума и таланта, несмотря на примеры: Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рассел, Шоу, Лев Толстой, Бунин — легион гениальных старцев! Пренебрегаете только на основании чернильной пометки в паспорте.

— Неправда! На основании того, что созрело новое поколение, которому вы должны уступить дорогу.

— Не всегда, не во всем...

— Когда осуществится наша революция, вы ахнете, какого потолка достигнем мы, молодежь! На какое высокое небо взлетим!

— Есть у меня одна приятельница, знаток богословия, — говорю я, подразумевая Моб, — она сказала бы вам, что это у вас главный бесовский соблазн: самовозвеличение и гордыня. И насчет взлёта: в Риме когда-то апостол Петр обличил волхва Симона, когда тот при помощи бесов поднялся на воздух. Помолился апостол, и Симон — на землю кувырком.

— Экая чепуха!.. — бормочет она.

## 5

И был вечер. Обреченный, как называю я вечера, когда у вас где-то между левым предплечьем и так называемой подложечкой гнездится ощущение подстерегающего неблагоприятия, когда не следует садиться по крупной в покер, даже и вообще выходить из дому, а дома не надо браться писать рассказы или просто письма знакомым, потому что всё написанное в такой вечер выходит из рук вон плохо.

Была вдобавок и апрельская мокропогодица: дождь без роздыху и ветер, забивающий вам в лицо мокрые гвоздики и наезжающий на ваш шаг, как танк.

И всем этим я пренебрег ради одной совсем, может быть, и ненужной справки в публичной библиотеке — несколько всего строк!

На Бродвее ветер дул, как всегда, вперехлест; в полупотемках подле мусорных тумб шевелили лохмотьями скелеты порванных зонтиков, и было пусто.

А на возвратном пути, когда выбрался из метро, снова так забило навстречу, что задержался передохнуть и вытереть с очков брызги — у одного современного памятника искусства, всегда вызывавшего во мне недоумение.

Он представлял собою гигантский чугунный куб, поставленный на одну из своих восьми пяток, так что казалось: толкни пальцем — и упадет.

Опричь этого беспокойства, убивающего, по моему, пластическую гармонию, куб другого впечатления не производил. Мне казалось всегда, что здесь творческая находка подменена фокусом, как, скажем, в некоторых архитектурных выдумках Корбюзье, спирающего иногда огромное многоэтажье на тщедушные четырехгранные подпорки: беспокойно, режет ребрами глаз и напоминает протезы...

Я так задумался над этими, ни к чему, отвлеченностями, вызывающими лишь усмешку у современных трубадуров современного искусства, что и не слышал, в шуме дождя, за спиною шагов, а только — легкое прикосновение и слова:

— Can you spare a dime, Mister?\*

«Spare a dime»... — здешняя просьба о подаении. Но — голос! голос!.. Господи!

И еще раз, когда обернулся: «Господи! Не может этого быть!»

Или — может?.. — черный, в струйках и капельках, дождевик; протянутая ко мне маленькая молящая кисть; бледный с темной прядкой волос краешек щеки в щели капюшона, тотчас скользнувшей в сторону.

И так рванулось, застряв где-то у горла, сердце, что ни вздохнуть, ни выговорить ничего; только сама собой сунулась в карман рука, холодные

---

\* Не пожалейте гривенничка, господин!

ноготки почти царапнули мою ладонь, перенимая долларовую бумажку, и — ширк! как смело ветром.

Когда, глотнув воздуха, шагнул вслед — грязно-серый амбар-грузовик катился впритык к тротуару, а миновал — была за ним темень и пустота. Никого! Рыже косил под фонарем напротив дождь.

Прислонясь к мокрому столбу с каким-то дорожным сигналом, я ждал, покуда сердце, подрагивая, возвращалось на место и отпускала в предплечья боль. Желток фонаря плющился у меня под ногами в черной, пляшущей луже.

— Господи! — повторял я снова. — Что же это было? Что?.. Неужели не суждено мне дознаться обо всем до конца?

Или это и был — конец?..